

Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию

Коллинз Р.

Федеральная программа «Культура России» (Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»)

Серия «Динамическая социология»

Петер А. Бергер и *Бриджит Бергер*. Социология: Биографический подход

Рэндалл Коллинз. Социологическая интуиция (Социологическая проницательность):

Введение в неочевидную социологию

Перевод с английского *В. Ф. Анурина*

В оформлении обложки использована работа О. С. Прокофьева «Пленные цепи», 1989 г.

Л 66

Личностно-ориентированная социология. — М.: Академический Проект, 2004. — 608 с.

ISBN 5-8291-0403-2

Проблемы личности, ее формирования и развития занимают далеко не последнее место в социологической науке. Данное издание предоставляет читателю возможность познакомиться с двумя работами на эту тему крупнейших современных американских социологов. Первая из них — книга П. и Б. Бергеров «Социология: Биографический подход», вторая — «Социологическая проницательность» Р. Коллинза. Разные по жанру и стилю изложения эти работы преследуют одну цель — познакомить читателя с проблемами и местом личности в современном мире. Книга представляет интерес не только для студентов и преподавателей, но также для всех, кто интересуется проблемами социологии и хочет лучше ориентироваться в непростой современной жизни.

УДК 316 ББК 60.5

© В. Ф. Анурин, перевод. 2004

© Академический Проект, оригинал-макет, оформление, 2004

Содержание

Личность в обществе и общество в личности (предисловие переводчика)
Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию

Предисловие

Глава 1. Нерациональные основания рациональности⁴

- 1.1 Преддоговорный базис договоров
- 1.2 Проблема бесплатного пассажира
- 1.3 Возникновение договорного общества
- 1.4 Власть и солидарность

Глава 2. Социология Бога

- 2.1 Общая основа религий
- 2.2 Почему люди обладают моральными чувствами?
- 2.3 Общая модель социальных ритуалов
- 2.4 Тип Бога соответствует типу общества
- 2.5 Возникновение индивидуального Я
- 2.6 Ритуалы взаимодействия в повседневной жизни
- 2.7 Мир социальных ритуалов

Глава 3. Парадоксы власти

- 3.1 Три стратегии: деньги, сила и солидарность
- 3.2 Важность само собой разумеющегося
- 3.3 Оптимизация против удовлетворительности
- 3.4 Власть неопределенности

Глава 4. Нормальность преступления

- 4.1 Консервативные объяснения преступления
- 4.2 Либеральные объяснения
- 4.3 Радикальные объяснения преступности
- 4.4 Социальная необходимость преступности
- 4.5 Пределы преступления

Глава 5. Любовь и собственность

- 5.1 Эротическая собственность

Личность в обществе и общество в личности (предисловие переводчика)

Социология — пожалуй, одна из самых молодых научных дисциплин (моложе ее, вероятно, лишь генетика и кибернетика). Время ее возникновения и становления в качестве самостоятельной сферы научных изысканий — середина XIX века — совпадает с периодом наиболее бурного развития индустриальной революции. Это весьма симптоматично: раньше она и не могла появиться на свет, поскольку в ней просто не было нужды. С другой стороны, эта наука просто не могла бы явиться миру, если бы этому не предшествовал длительный этап накопления фактов, дискуссий, размышлений, обобщений со стороны большого числа мыслителей, начиная с античных времен. Однако, однажды возникнув, она стала развиваться стремительными темпами — вначале в виде национальных социологических школ, а затем все более интегрируясь в единый, общепризнанный комплекс знаний о социальных процессах и формировавшихся на этой основе парадигм и идейных течений. Этот информационный комплекс вырабатывался в ходе многочисленных дискуссий, споров, иногда довольно непримиримых. Что-то из выдвигаемых гипотез и мыслительных конструкций принималось сразу, что-то отвергалось навсегда, а что-то, будучи решительно раскритикованным и, казалось бы, навсегда безжалостно отброшенным, спустя какое-то время пересматривалось заново и признавалось соответствующим истине — но уже на новом витке приращения общенаучного знания.

В очень недавние по историческим меркам времена социология в отечественном обществоведении разделяла участь (4:)

[...]

(396:) она дает ему также лучшее понимание его возможностей. И, оставляя в стороне философские премудрости, возможно, это будет столь же хорошим определением свободы, как и любое другое, — обладание чувством собственных возможностей. Политика описывается как искусство возможного. Если так, то социология при всей своей скромности — это *наука возможного*.

Именно по этим причинам социология, как мы думаем, занимает свое место в учебном плане «гуманитарных наук»*. Каким бы ни было ее использование в профессиональном обучении или подготовке ученого, социология имеет влияние на рост осведомленности личности о мире, о других и о себе самом. Сегодня имеется немало противоречий по поводу будущего образования в колледжах и университетах. Каким бы ни было это будущее, мы надеемся, что в нем найдется место для этой «либеральной» концепции образования и потому — для особенно «либеральной» дисциплины социологии.

* Liberal arts — Прим. перев. (397:)

Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию

Рэндалл Коллинз (Randall Collins, *Sociological Insight: An Introduction to Non-Obvious Sociology*
Рэндалл Коллинз Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию
Коллинз Р. Социологическая проницательность: Введение в неочевидную социологию
Перевод В. Ф. Анурина [перевод названия исправлен мною. — *Е. Волков*] (398:)

Предисловие

Глава 1. Нерациональные основания Рациональности

Глава 2. Социология Бога

Глава 3. Парадоксы власти

Глава 4. Нормальность преступления

Глава 5. Любовь и собственность

Глава 6. Может ли социология создать искусственный разум?

Послесловие (399:)

Предисловие

Цель любой дисциплины состоит в том, чтобы соответствовать двум требованиям: быть ясной и быть неочевидной.

Реальное знание должно быть коммуникабельным. Оно должно заявить о себе так, чтобы было понятно. И если вы уже обладаете этим знанием, должно иметься, что сказать такого, чего вы не знали бы уже прежде.

У социологии плохая репутация и в том и в другом смысле. Она повинна в абстрактном жаргоне. Социологическая проза в худшем своем выражении считается, в сущности, недоступной. А уж если читатели проникают, наконец, в дебри абстракций и специальной терминологии, то слишком часто обнаруживают, что там мало что сказано. Представляется, что социологи сообщают о том, что и без того уже известно каждому, что они документируют очевидные факты нашего мира, что они просто дают новые имена тому, что уже и так знакомо. Стоит ли удивляться, когда заявляют, что социологам приходится прятаться за специальным языком их же собственного изготовления: если им придется говорить на простом/английском/языке, то не будет сказано вообще ничего.

В таком утверждении есть определенная доля истины. Социология стала временами без нужды бестолковой, и добрая доля ее имеет тенденцию выглядеть довольно пустой. Поле исследования содержит ответвления в новые формы технического жаргона, простирающегося от философии до математики. И люди, включая самих социологов, удивляются, если вообще говорится что-то дельное.

Тем не менее, я думаю, что против социологии выдвигаются несправедливые обвинения. И в этом она, может быть, (400:) в значительной степени виновата сама. За дымовой завесой понятий и дефиниций, философских дебатов и пространственных методологий скрыт один важный факт: в социологии существует реальная сердцевина, где сделаны весьма значимые открытия. Социология и в самом деле знает некоторые важные принципы устройства этого мира. Эти принципы не являются делом концептуализации и дефиниций. Они сообщают нам о том, почему случаются те или иные вещи, и почему это происходит скорее таким-то путем, нежели другим, и они лежат под покровом обычных верований. Эти принципы открывались профессиональными учеными, включая некоторых ведущих мыслителей прошлого; они никоим образом не очевидны.

Поскольку они не очевидны, нет причины облекать их в абстракции и технические термины. Они столь же впечатляюще изложены простым и ясным языком, как и в том случае, если бы их замаскировать эзотерическим жаргоном. Проверкой реального знания является то, что его можно изложить так, чтобы любой мыслящий человек смог понять, о чем идет речь.

Сердцевина этой книги заключена в двух первых главах. Мы начинаем с центральной проблемы, которая отделяет социологический анализ от большинства других, более очевидных подходов к миру. Это проблема ограниченности рациональности. Она ведет к далекому от очевидности выводу о том, что мощь человеческого рассудка базируется на нерациональных основаниях и что общество соединяется воедино не рациональными соглашениями, а с помощью более глубоких эмоциональных процессов, которые продуцируют социальные связи доверия между отдельными типами людей. Общество состоит из групп. Эти группы часто находятся в конфликте друг с другом; но каждая группа может действовать лишь в той мере, которая удерживает ее вместе с другими группами. Это требует какого-то нерационального механизма, продуцирующего эмоции и идеи.

Что же это за механизм, порождающий социальную солидарность? Вторая глава ищет ответ на этот вопрос, изучая другие неожиданные социологические открытия и проявляя в данном случае интерес к природе религии. Религия являет собою первичный пример того, как определенные формы социального взаимодействия продуцируют чувства (401:) групповых связей. Мы здесь пришли к выводу относительно того, что значит религия в жизни людей, но мы обнаружили также и нечто, имеющее более широкое значение. Представляемая здесь теория религии наиболее важна, потому что она раскрывает общую теорию социальных ритуалов. Это ключевые кирпичи для многого остального из социологии; поскольку ритуалы — это маленькие социальные машины, которые создают группы и прикрепляют их к социально значимым символам.

Располагая такими инструментами, следующие четыре главы применяют социологический анализ к разнообразным темам. Власть и преступность — это две сферы, где нерациональные процессы накладывают весьма серьезные ограничения на понимание их людьми и возможность управления ими с помощью рациональных расчетов. Тем не менее, и власть, и преступность имеют свои парадоксальные паттерны, которые мы можем понять с позиций неочевидной социологии. Пятая глава рассматривает взаимозависимые темы пола, любви и положения женщины в обществе. Здесь мы также найдем социальные символы на поверхности и парадоксальные структуры в глубинах. Здесь опять интуиция неочевидной социологии поможет нам увидеть направление изменения паттернов в наше время.

Последняя глава вводит социологию в пространство вечного. Она показывает нам, что если мы собираемся построить когда-нибудь компьютер с интеллектом человеческого существа, он будет запрограммирован социологами. Реальный искусственный интеллект со способностью к человеческому творчеству должен обладать человеческими эмоциями. Эта глава, завершая полный круг, возвращает нас к теориям рациональности и ритуалов, с которых мы начинали. Если человеческая рациональность покоится на нерациональном основании социальных ритуалов, тогда компьютер может обращаться с символизмом таким образом, как это могут только люди, то есть — если он тоже может принимать участие в ритуальных взаимодействиях.

За этим следует введение в социологию как дисциплину, которой действительно есть что сказать. В нем я набросал некоторые наиболее важные аргументы Эмиля Дюркгейма и Эрвина Гоффмана, Гарольда Гарфинкеля и Манкура (402:) Ольсона, Карла Маркса и Макса Вебера, равно как и современной социологии разговора и эмоций.

Социология пережила интеллектуальные приключения, которые увели нас за пределы того, что открывается здравым смыслом. Она должна попробовать себя на поприще обнадеживающего расширения нашего знания о мире. Я предложил здесь лишь толику практических следствий из социологии. Они включают в себя некоторые из более усложненных путей, которые указывает социология для решения проблем организационной власти, преступности и половой дискриминации.

Конечно, социология далека от совершенства. Не все ее теории разработаны; и в ней имеются огромные области неподдельных разногласий, и предстоит провести еще много исследований. Я не пытался охватить все темы и подходы, хотя читатель в разных местах найдет упоминания о расходящихся теориях. Я не пытался придерживаться в этой книге какой-то одной позиции. Что она предлагает — так это краткое введение в некоторые из наиболее интересных и элегантных социологических идей. И я надеюсь, что она пробудит аппетит к большему.

Риверсайд, Калифорния, Р. К. август 1991 (403:)

Глава 1. Нерациональные основания рациональности

Сами мы гордимся своей рациональностью. Быть разумным — это хорошо; быть неразумным — означает иметь признаки идиота, глупца или малого дитя. Человеческая специфика рассматривается как *homo sapiens*: мы — разумные животные. Мы делаем вещи не по инстинкту, а потому, что видим причину для этого.

Отсюда, видимо, следует, что в очень большой мере все, что мы делаем, основано на рациональном мыслительном процессе — повседневная деятельность, работа и бизнес, политика и правительственное администрирование. Существует ряд практических и академических дисциплин, предназначенных для того, чтобы показывать рациональные принципы в каждой области. Наука и техника управляют нашими отношениями с физическим миром, экономика — деятельностью по продаже и покупкам, политическая философия и административная наука — областью принятия политических решений и формальной организации. Даже на наиболее личностном уровне одна из версий психологии описывает индивидуальное поведение в качестве такого, которое прямо детерминируется стремлением к вознаграждению и избежанием наказания. Мы рациональны в любом направлении, куда ни повернись.

Однако, сопротивляясь всей этой вере здравого смысла в рациональность, социология выделяется, подобно диссиденту. Одно из центральных открытий социологии состоит в том, что эта рациональность ограничена и появляется лишь при определенных условиях. Более того: само общество, (404:) в конечном счете, базируется не на рассудочном или рациональном соглашении, а на нерациональном основании.

Как это можно продемонстрировать?

Простейший повод для возникновения сомнений во всемогуществе рациональности состоит в том, что различные сторонники рациональности часто сами бывают не согласны между собою. Для различных экономистов самым обычным делом является представлять вполне обоснованные аргументы для диаметрально противоположных позиций. Политики и администраторы оценивают свои собственные программы как высоко рациональные, а программы своих оппонентов — как ошибочные. Но у этих оппонентов часто имеется шанс привести эти ошибочные программы в действие: это весьма вероятно, когда у власти стоит другая партия. Таким образом, даже сторонники рациональности должны допустить, что, по крайней мере, часть времени ход вещей детерминируется не рациональностью, а ее противоположностью. Конечно, вопрос состоит в том, что считать рациональным, а что его

противоположностью? Ответ, который вы получите, зависит оттого, с какой стороны вы задаете вопрос.

Наличие разногласий и конфликтов — это одна из причин, по которым приходится сомневаться во всеохватывающей силе рациональности. Вы можете пойти дальше и показать, что многие политики, сами по себе высоко рациональные, могут получить такие последствия своей деятельности, которые им придется признать нежелательными. Например, бюрократия описывается как высоко рациональная организация. Рациональное планирование и учет — это как раз то, что делает организацию бюрократической: эксперты создают планы на предмет всевозможных случайностей; правила и процедуры составляются так, чтобы принять во внимание все наиболее эффективным образом; записи ведутся так, чтобы все было тщательно учтено. В действительности же, как знает большинство людей, бумажная работа может стать причиной утомительных проволочек, а правила могут оказаться совершенно непригодными для конкретных ситуаций. Бюрократии, созданные в целях максимальной эффективности, хорошо известны своей неэффективностью.

Значительная часть социологии фокусируется как раз на этом. Макс Вебер, который сформулировал теорию бюрократии как организации специалистов по регистрации (405:) записей, которые используют рациональные расчеты, также видел, что она может принимать различные и противоречивые формы. *Функциональная рациональность* состоит из последовательных процедур беспристрастных расчетов, как можно достичь результата с наибольшей эффективностью. Это, в самом деле, и есть то, что мы обычно понимаем под рациональностью. Но функциональная рациональность имеет дело только со средствами достижения цели. С другой стороны, *сущностная рациональность* учитывает цели сами по себе.

Этот аспект был разработан Карлом Маннгеймом, писавшим спустя несколько лет после смерти Вебера, последовавшей в 1920 г. Одни и те же процедуры могут быть *функционально* рациональными, но приводить к *сущностно* иррациональным результатам. Бюрократия состоит из сети специалистов, озабоченных только наиболее эффективными средствами достижения конкретной цели. Но сами эти цели — это дело не их, а кого-то другого. Вот почему бюрократия приносит столько фрустраций людям, которые должны иметь с ней дело. Озабоченные только выполнением своих обязанностей, специалисты считают все, что лежит вне круга их частной компетенции, чьими-то чужими проблемами. Жаловаться на бюрократию — это уже само по себе фрустрирующее занятие как раз потому, что бюрократам так легко уйти от ответственности. И это происходит вовсе не вследствие недостатков включенных в организацию индивидов; это именно рациональность организации имеет своим результатом неспособность бюрократов понять общие цели, с которыми им приходится иметь дело, или, наоборот, не удается их понять.

Можно было бы предположить, что ответственность за видение общих целей лежит на администраторах высшего уровня. Однако проблема состоит в том, что чем более бюрократична организация, тем больше администраторов попадают в ловушку собственного аппарата. Они полагаются на расчеты и отчеты специалистов, сообщающих им, что происходит, а, следовательно, их точка зрения формируется в результате тех же организационных процедур. Высшие администраторы видят мир глазами отчитывающихся перед ними бухгалтеров и инженеров. Как утверждает Маннгейм, имеется тенденция вытеснения функциональной рациональностью (406:) рациональности сущностной. С этой точки зрения, правительства двадцатого века являют собою основные примеры выхода бюрократического аппарата из-под контроля. В пределах любой правительственной бюрократии планы тщательно формулируются и рационально исполняются. Тем не менее, общие результаты часто оказываются расточительными и создают новые проблемы взамен старых. Программы, проектируемые для уменьшения безработицы, могут продуцировать

инфляцию; постановления, проектируемые для увеличения безопасности, могут вызывать разрушительные расходы и снижать производительность.

В крайнем своем выражении функциональная рациональность может создать угрозу самому существованию цивилизации. Например, тщательно рассчитанные и научно обоснованные приготовления к военной обороне имеют своим результатом гонку вооружений и могли бы легко кульминировать в тотальное разрушение ядерной войны. Маннгейм, писавший перед Второй мировой войной, не мог предвидеть появления атомного оружия, но его взгляд особенно внушительен, потому что он показывает основополагающие организационные формы, из которых возникает гонка вооружений. Именно преобладание функциональной рациональности над сущностной рациональностью лишает людей способности заглянуть вперед на более обширные цели. Каждый концентрируется на выполнении своей собственной работы, рассчитывая наиболее эффективные средства достижения цели, действуя при этом как шестеренка более крупной машины. Цель шестеренки состоит в том, чтобы повернуть отдельное колесо; личность, действующая как шестеренка, неспособна составить какое-либо суждение о том, почему это колесо должно крутиться в первую очередь, или, может быть, было бы лучше разрушить машину целиком и заменить ее чем-то еще. Таким образом, считал Маннгейм, современные правительства скатываются в войну — по своей воле или против нее. Все это случается потому, что их собственная функциональная рациональность лишает их возможности поступать как-то иначе.

Иррациональные последствия рациональных процедур не ограничиваются военной или политической сферой. Линия анализа, начатая в девятнадцатом веке Карлом Марксом и продолженная в различных формах рядом современных (407:) социологов, видит подобную динамику в экономической сфере. Для сущности капитализма, указывал Маркс, характерно именно редуцирование всего к расчетам прибыли. В этом процессе человеческие ценности подчинены экономическим целям, и учет человеческих существ теряется в капиталистической машине. Маркс видел капиталистическую гонку к прибыли в кризисах безработицы и крахе бизнесов, в которых постепенно будет уничтожен даже сам класс капиталистов. С точки зрения Маннгейма, *функциональная* рациональность капитализма коренится в его *сущностной* иррациональности.

Тогда ряд различных теорий в социологии сосредоточились на непреднамеренных последствиях различных действий, которые начинались как сами по себе рациональные. Можно было бы даже сказать, что специальность социологии — это изучение процессов, которые не ставят своей изначальной целью быть рациональными. Тем не менее, в одном важном отношении мы все еще находимся на поверхности проблемы. Мы имели дело с примерами рационального поведения, которые прекращают иметь рациональные последствия [в книге опечатка — «иррациональные». — *Е. Волков*]. Но существует и более фундаментальный подход, который показывает, что рациональность сама по себе не является первоочередным базисом, на котором существует общество.

Такой аналитический подход разработал на рубеже веков Эмиль Дюркгейм, который был чуть постарше Макса Вебера. В некотором смысле с Эмиля Дюркгейма начинается современная социология. Он заложил первые университетские позиции в социологии во Франции и разработал многие из фундаментальных понятий и методов социологии. Дюркгейм рассматривал общество по аналогии с биологическим организмом, в котором каждая часть вносит свой вклад в гармоничную интеграцию целого. Эта линия анализа, известная как функционализм, пытается интерпретировать каждый социальный институт с точки зрения его вклада в общий социальный порядок. Некоторые школы в современной социологии, включая те, что ведут свою интеллектуальную традицию от Вебера и Маркса, отвергают дюркгеймовский функциональный подход. Взамен эти школы акцентируют роль конфликта и господства во взаимоотношениях классов и других групп как первичных (408:) детерминант

форм социальной жизни. Лично я предпочитаю сильно склоняться в сторону веберовской теории конфликта, одновременно инкорпорируя ряд идей из Маркса. Тем не менее, определенные идеи Дюркгейма остаются, бесспорно, центральными для социологической теории. Это как раз он выдвинул утверждение, что общество и сама по себе рациональность покоятся на нерациональном основании, и разработал теорию ритуалов как механизмов, посредством которых создается групповая солидарность. В самом деле, как я попытаюсь показать, веберовская и марксова теория конфликта не могут реально работать, если они не инкорпорируют эти дюркгеймовские идеи в их основе.

Другими словами, я заимствую часть дюркгеймовской теории, но не всю ее. Это означает отделение дюркгеймовской микросоциологии от его макросоциологии с использованием первой в значительно большей степени, чем второй. Дюркгеймовская макросоциология — его акцент на интеграцию общества в целом как одной большой единицы — это как раз то, что отвергают Вебер и Маркс. Дюркгеймовская микросоциология — это теория ритуалов в малых группах. По моему мнению, структура общества как целого лучше понимается как результат конфликтующих групп, одни из которых доминируют над другими. Но конфликт и господство сами по себе возможны только вследствие того, что группы интегрированы на микроуровне. Все же дюркгеймовская теория — это самый лучший гид, позволяющий понять, как это происходит. Более того, проникновение Дюркгейма в рациональность и ритуалы нашло своих последователей в лице наиболее заметных современных микросоциологов. Этнометодология Гарольда Гарфинкеля — это во многих отношениях иная версия дюркгеймовского анализа нерациональных оснований рациональности; исследования Эрвина Гоффмана также используют дюркгеймовскую теорию ритуалов в отношении подробностей повседневной жизни.

В последующем изложении я буду следовать аргументации Дюркгейма, что общество должно покоиться на нерациональном основании, дополняя ее последующими свидетельствами, собранными современными теоретиками. Следующая глава представляет дюркгеймовскую теорию ритуалов. Она показывает не только то, как создается нерациональная (409:) солидарность, но дает также теорию *различных типов* солидарности, которая может объяснить разнообразие различных форм социальной жизни. Эта теория имеет своим источником дюркгеймовскую социологию религии, но она выходит за ее пределы, расширяясь до объяснения идеологии и религии. В руках Гоффмана, как мы увидим, она развивается в теорию ритуала в секуляризованном, нерелигиозном мире современных повседневных событий. Это дает нам некоторые из инструментов, в которых мы нуждаемся для анализа, в последующих главах, связанных с темами власти, преступления и даже конфликтов полового господства и освобождения.

Мы остановим наш взгляд на том факте, что люди преследуют свои эгоистические интересы, обладая в то же самое время чувствами солидарности по меньшей мере с какой-то частью других людей. Рациональность и расчеты также найдут свое место в этой схеме вместе со своими нерациональными основаниями. Хотя ключевым местом старта остается дюркгеймовская теория нерациональной солидарности. Это один из наиболее важных идеологических [? Возможно, «идейных». — *Е. Волков*] инсайтов, кирпич, на котором строится многое из остального.

1.1 Предоговорный базис договоров

Традиционный, рационалистический способ разговора об обществе использует понятие общественного договора. «Мы, народ Соединенных Штатов, — начинается Конституция, — для того чтобы сформировать более совершенный Союз, устанавливаем справедливое, безопасное, домашнее спокойствие, с тем чтобы обеспечить общую безопасность, продвинуть общее благосостояние и гарантировать благословение свободы всем нам и нашей

собственности, освящаем и учреждаем эту Конституцию Соединенных Штатов Америки». Это относится к основанию правления, но идея остается общей. Теоретики политики, такие как Гоббс и Руссо, видели истоки человеческого общества в некоем договоре, заключенном в незапамятные времена людьми, преднамеренно собравшимся вместе, чтобы следовать общим правилам и извлекать выгоды из социального сотрудничества. Реальное событие заключения первоначального общественного договора в первобытные (410:) времена может быть метафорой, но основная идея обозначена вполне реалистично. Люди, которые объединяются в общество, приобретают важные вещи, которые они не могли бы обрести в одиночку и, следовательно, это рациональный выбор, предназначенный для того, чтобы сформировать общество. Предполагается, что мы вновь и вновь подтверждаем правильность этого рационального выбора, поскольку видим преимущества, которые получаем, поддерживая общество и его правила.

Тем не менее, если следовать прямолинейной логике рациональной точки зрения, мы приходим к противоположному выводу. Если люди действуют на чисто рациональной основе, они вообще никогда не будут способны собраться вместе, чтобы сформировать общество.

Это звучит парадоксально. Сбравшись вместе, люди могут увеличить свою экономическую продуктивность путем разделения труда. Сформировав государство, они могут жить под защитой закона и оборонять себя от внешних нападений. Представляется, что преимущества общества очевидны и что рациональные индивиды увидят эти выгоды и образуют какой-то тип общественного договора, который необходим для их совместного существования и сотрудничества. Почему бы не объяснять существование общества с помощью этого очевидного аргумента?

Проблема, как указывает Дюркгейм, заключается в вопросе о том, как будет заключаться договор. Для каждого договора фактически существуют два договора. Один из них—это тот договор, который мы заключаем сознательно: учредить общество, сформировать правительство, основать организацию, согласиться поставлять товары по определенной цене. Эта часть достаточно легкая. Но существует второй, скрытый договор: подразумеваемый договор о том, что вы и ваши партнеры будете подчиняться правилам первого договора.

Что это означает? Здесь ставится вопрос, который известен каждому реалистичный деловому человеку каждому хитрому политику: возможность того, что кто-то смошенничает. Чтобы вхождение в договор было стоящим делом, нужно иметь уверенность, что другая сторона будет соблюдать свою часть сделки.

Более того, если мы предположим, что люди являются чистыми рационалистами, которые тщательно рассчитывают (411:) возможные выгоды и потери, тогда для каждой стороны становится невозможным согласиться с договором. Рациональный индивид, такой, скажем, как циничный политик, должен реалистично рассматривать вероятности того, что может произойти: другая сторона может жить по правилам договора, а может и не соблюдать их. Поскольку другая сторона может смошенничать, вы сами должны рационально выбирать — жить вам по правилам или нет. И эти расчеты заставят прожженного торговца соблюдать осторожность по поводу любого соглашения.

Предположим, вы живете по правилам своей стороны договора, а другая сторона мошенничает? Что произойдет? Вы потеряете все, что вы вложили в него, а ваш партнер получит кое-что задаром. Если мошенничаете вы, а ваш партнер нет, тогда вы получаете ваш вклад и ничего не даете за это.

Однако чисто рационально вы должны стоять за то, чтобы приобрести выгоду, если вы мошенничаете. Если ваш партнер тоже мошенничает, тогда вы, по крайней мере, ничего не

теряете; ни одна из сторон ничего не вкладывает и ничего не получает, и вы находитесь в той же точке, в которой были перед стартом.

Вы можете спросить: а что если обе стороны будут соблюдать условия сделки? Разве они не получают прибыль? Да, но в этом случае никто не получает кое-что за просто так. Имеет место обмен; предположительно обе стороны имеют какую-то прибыль (хотя не всегда). Если вы сравните это с ситуацией, в которой одна из сторон с успехом мошенничает в отношении другой, вы увидите, что гораздо выгоднее успешно мошенничать, нежели вести дело так, чтобы обе стороны выполняли свои обещания.

Стало быть, линия выбора пролегает между мошенничеством и сдерживанием своих обещаний, и более рациональная стратегия — это мошенничество. Мошенничество гарантирует, что в худшем случае вы не теряете ничего, а в лучшем — получаете хороший куш. С другой стороны, выполнение обещаний означает, что в лучшем случае вы приобретете немного, а в худшем потеряете много. Поэтому рациональный индивид всегда смошенничает.

Если бы это был совершенно рациональный мир, никто и никогда не смог бы войти в общественный договор, и мир состоял бы из изолированных индивидов, вечно подозревающих (412:) друг друга. Общество никогда бы не смогло сформироваться, и вовсе не потому, что до-социальный мир какой-то дикий или недоразвитый, а именно потому, что он *слишком* рациональный.

Когда Дюркгейм выдвигал этот аргумент, он не намеревался показать, что социальная организация невозможна. Очевидно, она возможна, если существует. Что он хотел показать, так это то, что социальная организация не базируется исключительно на договорах. До той степени, в какой теперь в современном мире существуют договоры — договоры о собственности, деловые соглашения, трудовые контракты, страховые полисы и все остальное, — все это вследствие того, что существует нечто под ними или предшествующее им. Почему-то люди заставили этот второй, подразумеваемый договор подчиниться правилам первого, явного договора.

Это опять же лишь метафора. Ясно, что то, что лежит в основании наших договоров, — это не какой-то другой тип договорного соглашения. К нему можно было бы применить аргументацию, подобной той, что мы применяли к первому договору. Войдет ли рациональный, эгоистичный индивид в договор о соблюдении договора? Нет, рациональная личность будет ожидать, что другая сторона тоже смошенничает по этому контракту, и решит, что наилучшей стратегией будет смошенничать первому. Поэтому для того, чтобы выполнялся второй, «глубинный» договор, нужно будет заключать третий, еще более глубинный договор — договор о выполнении договора о выполнении договора. Это, очевидно, поведет к бесконечной регрессии. Если начать спрашивать и рассчитывать о том, как кто-то будет выходить из любого договора, не останется логического места для остановки.

Дюркгейм приходит к выводу, что договоры основываются на чем-то нерациональном. Он называет это «преддоговорной солидарностью». В действительности это означает, что общество основывается *на доверии*. Люди могут работать вместе не потому, что они рациональным образом решили, что делать так — выгодно, а потому, что они обладают чувством, что могут доверять другим по поводу соблюдения соглашений. Общество работает именно потому, что люди не должны рационально решать, какие выгоды (413:) они могли бы приобрести и какие потери понести. Люди не должны думать об этих вещах, и это как раз то, что делает существование общества возможным.

До сих пор это могло казаться логически непроницаемым. Я рационально показал, что рациональность никогда не сможет установить социальных связей и что должно быть вызвано

что-то, помимо рациональности. Рациональность указывает на свои собственные пределы. К счастью, как представляется, есть что-то за ее пределами. Существует преддоговорная, нерациональная рациональность, и она приходит нам на помощь.

И все же, если мы согласуем этот аргумент с тем, что мы знаем о мире, есть моменты, которые могли бы вызвать у нас беспокойство. Один из них состоит в том, что должно выглядеть очевидным: люди больше получают, когда состоят в успешной кооперативной организации, нежели от работы в качестве изолированных индивидов. Общество делает возможным разделение труда; люди, работая вместе, могут строить дома, дороги, производить разнообразную пищу, одежду, предметы роскоши и неисчислимые вещи, которые изолированные индивиды, работающие поодиночке, никогда не смогли бы изготовить. Почему рациональный индивид не может именно так взглянуть на это и принять рациональное решение отказаться от мошенничества для того, чтобы пожинать плоды выгод от широкомасштабного сотрудничества?

С точки зрения нашей рациональной модели обмена это означает, что каждый индивид должен рассчитывать не только кратковременные выгоды или издержки от мошенничества или верности обещаниям, но также и долгосрочные выгоды или издержки. Если мошенничество представляется более рациональным, то это лишь вследствие того, что мы взглянули только с краткосрочных позиций. В долгосрочной перспективе каждый имеет гораздо больше выгоды от того, что действует, именно сдерживая свои договорные обязательства. Если даже имеется небольшой убыток от каждой сделки, на протяжении длительного периода времени это может воздвигнуть гораздо более высокий уровень благосостояния и комфорта, нежели позволило бы приобрести любое мошенничество в изолированном случае.

Тем не менее, я думаю, что дюркгеймовский аргумент покоится на твердом основании. В любой точке вдоль этой (414:) линии индивиды подвергаются соблазну смошенничать. Чем больше благосостояния в горшке — пусть даже оно было создано в ходе долгой истории успешного сотрудничества, — тем больше искушение. И, чтобы быть здесь реалистичными, равно как и просто логичными, мы должны сказать, что возможность обмана всегда остается при нас, и чисто рациональный индивид всегда должен быть настороже от этого. Следовательно ситуация расчета будет возвращаться вновь и вновь с издержками от мошенничества, все время растущими. Рациональные индивиды будут знать, что возможности уступить этим искушениям будут рассматриваться их партнерами, равно как и ими самими, и мы опять оказываемся в той же мертвой зоне взаимных подозрений, с которых мы начали.

1.2 Проблема бесплатного пассажира

Существует современная форма этого аргумента, которая подвергалась основательному обсуждению в последние годы. В этой форме вопрос ставится не столько о том, возможно ли общество, а скорее о том, что коли уж общество существует, то каким образом оно может удержать индивидов в соединении с ним? Как оно может заставить их вносить свой вклад в целое? Проблема в том, что предоставленные собственному рациональному эгоизму, индивиды захватывают несправедливые преимущества из тех вкладов, которые другие люди внесли общину как в целое.

Вообразим общественную автобусную службу, которая совершенно бесплатна. Каждого просят внести свой вклад в стоимость автобуса, чтобы принять участие в покупке бензина и оплаты труда водителя. Однако взносы — чисто добровольные, и никакая плата за проезд не взимается. Любой может ездить автобусом, когда бы ни захотел. Люди не должны волноваться по поводу того, что забыли свои бумажники или о правильности сдачи. Эта служба просто доступна для каждого.

Что теперь произойдет в такой ситуации? Если люди собираются быть чисто рациональными, они рассчитают стоимости и прибыли различных вариантов действий. Конечно, если никто не делает взносов, вероятно, каждый осознает, что автобусной службы не будет. Поэтому будет (415:) рациональным: чтобы люди пожелали внести взнос в стоимость автобуса. Но заметим, что было бы более рациональным пожелать, чтобы взнос сделал кто-то другой, но не вы сами. Наилучший путь — это быть бесплатным пассажиром: надеяться на кого-то другого, кто вносит взнос в коммунальную службу, в то время как вы едете бесплатно. Тем не менее, если бы это делал каждый, то автобусная служба никогда не смогла бы окупить себя.

Этот аргумент приведен не для того, чтобы показать, что такой тип идеалистического общинного проекта невозможен, а скорее — чтобы продемонстрировать, что в основу его нельзя положить простую рациональность людей. Бесплатная автобусная служба могла бы работать, если бы большинство людей обладали сильным чувством бескорыстия, чувством обязанности или были бы переполнены сантиментами энтузиазма по поводу того типа бесплатной общины, который они создают. Дело в том, что эмоции, моральные чувства — это трансрациональные сантименты, а не рациональные расчеты. Это правда, если бы даже все сторонники такой реформы могли бы рассматривать себя просто как мыслящих рациональных людей, проводящих в жизнь план, благодаря которому каждый в общине мог бы получать выгоду. Конечно, их план мог бы быть рациональным — но только с точки зрения группы. Скачок за пределы рациональности происходит, когда вы пытаетесь присоединить индивидов к группе, заставить их самих мыслить просто как один из членов группы среди многих других. Однако когда индивид остается один, для него рациональным будет поощрить кого-то другого действовать как доброго гражданина, в то время как он или она поедет бесплатным пассажиром.

Бесплатная автобусная служба может быть лишь гипотетическим примером, но существует немало жизненно реальных примеров этой проблемы. Например, знаменитое убийство, которое произошло в Нью-Йорке, и которое наблюдали множество людей, но никто не сделал ничего по этому поводу. На женщину по имени Китти Дженовезе было совершено нападение, когда она ночью шла по новостройке. Мужчина нанес ей удар ножом, и она кричала о помощи. Десятки людей подошли к своим окнам в близлежащих домах. Нападавший убежал. А затем ничего не произошло. (416:) Китти Дженовезе так и лежала раненая на тротуаре. Никто не пришел на помощь; никто не позвонил в полицию. В конечном счете, убийца, который должен был понять, что никакой помощи никто не оказывает, вернулся и ударил ее снова. Предполагаем, что он не хотел быть опознанным и решил убрать главного свидетеля, dokonчив свою работу.

Действия убийцы выглядели, по крайней мере, в финальном акте, хладнокровно рациональными. Можно предположить, что толпа наблюдателей, безопасно расположившихся у своих окон, были трусами. Это может быть так, но может быть правдоподобным и другое предположение — что они проявили очень низкую степень человеческой симпатии и моральной включенности, не позаботившись о том, чтобы позвонить в полицию. Но хотя эти люди действовали не очень восхитительно, не обязательно считать истиной, что они были безразличны к судьбе убитой женщины. Просто все они могли разыгрывать версию проблемы бесплатного пассажира.

Существуют и некоторые другие свидетельства, чтобы вернуться к этому. Социальные психологи воссоздали ситуацию в лабораторном эксперименте. Ключевым моментом в этой ситуации была огромная толпа людей у окон. Они знали, что что-то происходит внизу, и что более важно — они знали, что множество других людей тоже знают это. Люди, выглядывающие из своих окон, могли видеть других людей в их окнах. Именно по этой причине никто не пошел помочь Китти Дженовезе, и никто не позвонил в полицию: каждый предполагал, что это сделает кто-то другой. «Помимо всего прочего, — мог размышлять

каждый, — зачем делать это, если кто-то другой сделает? Это стоит всего лишь одного телефонного звонка, и вместе со всеми этими людьми множество других, несомненно, уже сделали это за то время, пока я доберусь до телефона». Ирония здесь заключается в том, что подобным образом думал каждый.

В таком случае вовсе не обязательно считать, что все зрители были аморальными и черствыми, они были всего лишь рациональными по поводу того, как применить свою моральность. Если вы предполагаете, что кто-то другой звонит в полицию, тогда ваш звонок ничего не добавит, а вам доставит легкое неудобство. Или, если предположить, что вы позвонили первым, вам придется пройти через допрос в полиции в (417:) качестве свидетеля, отвечать на вопросы для отчета, возможно, присягать в суде. Если бы кто-либо из этих людей оказался единственным свидетелем нападения на Китти Дженовезе, большинство из них, вероятно, отвергли бы такого рода расчеты по поводу возможных собственных неудобств и позвонили бы в полицию. Именно вследствие самосознания толпы наблюдателей эти люди сочли себя вправе рассчитывать эти стоимости и выгоды от того, что они проделают это сами, и сравнивать с ситуацией, когда это будет позволено кому-то другому, то есть именно потому, что каждый был резонно уверен, что кто-то другой «заплатит за автобус», они почувствовали себя вправе быть бесплатными пассажирами. По иронии судьбы, такой была особая структура этой толпы, наблюдавшей друг друга за закрытыми окнами и запечатлевшей смерть Китти Дженовезе.

Имеются другие, менее мелодраматичные примеры проблемы бесплатного пассажира. Один из них мы видим вокруг себя в виде мусора, который люди разбрасывают на улицах, в парках и других публичных местах. Почему люди разбрасывают вокруг мусор, понимая, что это делает окружающую среду такой отвратительной для всех нас? Вероятно, главная причина — это диспропорция между индивидуальным мотивом и коллективным воздействием. Индивид лишь выбрасывает обертку жвачки или бумажный стаканчик; все это само по себе — малое количество мусора, оно едва заметно. Что обезображивает ландшафт, так это тот факт, что большие количества людей выбрасывают свой мусор и вносят свой скромный вклад в общественный беспорядок.

Теперь взглянем на индивида как на рационального актора. Рациональная личность знает, что если бы никто не выбрасывал мусор, улицы были бы много чище. Но если вы удерживаете себя от швыряния пакета из-под напитка в окно автомобиля и дисциплинированно ждете, пока не найдете мусорный ящик, от этого не будет большой разницы. Сами по себе вы действительно не можете заставить общественные места выглядеть заметно лучше, даже если вы являетесь тем человеком, который не только сам не бросает мусор, но и собирает мусор, оставленный другими. Даже если вы хотите, чтобы мир вокруг вас выглядел лучше, вряд ли действительно будет рациональным воздерживаться от (418:) бросания мусора в общественных местах. Вы просто не сможете достичь своей цели как индивид, и поэтому рациональным будет оставить это и доставить себе маленькое удобство, не беспокоясь по поводу поисков мусорной урны.

В данном случае я привожу этот аргумент не для того, чтобы убедить людей, что сорить в общественных местах — правильно. Лично я рад тому, что есть некоторое количество людей, которые не делают этого, а некоторые даже прерывают свой путь, чтобы собрать мусор, разбросанный другими. Я думаю, что это похвальное поведение мотивируется не рациональностью, а чем-то более глубоким: каким-то моральным чувством или, может быть, иррациональной фобией загрязнения. Таких фобий, насколько я понимаю, нам надо бы побольше. Но мы не можем предполагать, что мы можем сделать мир чище, именно рационально убеждая людей, что они могут сделать это как индивиды.

Что фактически демонстрируют эти примеры, так это то, что добрая доля социальной жизни может выполняться в открыто организуемой коллективной форме, иначе она вообще не может

выполняться. Один из способов, которым разрешается проблема бесплатного пассажира, заключается в том, чтобы не предоставлять индивидам возможности свободного выбора. Например, два способа, с помощью которых можно было бы очистить окружающую среду, состоят в том, чтобы или запустить моральную кампанию и породить широко распространенное эмоциональное желание чистоты, или сделать это с помощью особого правительственного агентства. Первое из них не является невозможным, но его трудно запрограммировать или спланировать; к счастью, в различные времена существуют периоды чувств, струящихся сквозь общество, которые мотивируют людей проявлять заботу об общей среде, окружающей их. Но на такие эмоции можно рассчитывать не всегда, и более обычный способ поддержания в чистоте улиц и парков состоит в том, чтобы правительство нанимало людей специально для того, чтобы собирать мусор.

Проводя в жизнь второй способ преодоления проблемы бесплатного пассажира, мы не предоставляем вещам свободного хода развития. Я не знаю, были ли попытки организовать бесплатную автобусную службу, но аналогичный пример имел место в Британии, когда впервые вводилась социальная медицина. Все медицинские услуги оплачивались (419:) государством, и любой мог посещать врача в любое время без оплаты. Первоначальным результатом был огромный рост частоты посещения людьми врача. Последовало множество жалоб. Врачи почувствовали, что они задыхаются и утверждали, что многие приходят к ним с сомнительными или неясными симптомами. Создавалась толкучка, и среди тех, кто пользовался услугами общественной медицины, широко распространялось недовольство. Другими словами, люди пересматривали ситуацию как индивиды и решали, что они получают максимум личной пользы от бесплатных медицинских услуг, даже если они реально не нуждаются в ней, и даже если она выливается в дорожные пробки у кабинетов врачей, создающие неудобства для каждого.

Потом администраторы медицинской системы нашли решение. Они установили за каждый визит к врачу небольшую плату, эквивалентную доллару. Число пациентов значительно сократилось, и число жалоб на медицинское обслуживание вошло в нормальные рамки. Почему это произошло? В основном изменения произошли в том, что больше не было ситуации бесплатного пассажира. Теперь они почувствовали, что опять вернулись в более нормальную ситуацию, оплачивая медицинские услуги, и они опять начали производить расчеты соответственно тому, действительно ли они чувствовали себя достаточно больными, чтобы нанести визит врачу.

Будучи довольно необычным, этот пример указывает на символическую природу «рациональных» решений. «Бесплатно» ли что-то или нет — выливается в нечто большее, нежели дело реальных стоимостей. С чисто практической точки зрения, вносимая плата была совершенно минимальной, и фактически любой, кто был действительно болен, нашел бы лечение по этой цене выгодным делом. Скорее идея быть бесплатным пассажиром представляется неотразимой для большинства людей, если коллектив дает что-то без наложения ответственности за пользование этим таким способом, который гарантирует право пользования этим и другим гражданам. (Такого рода вещи были отмечены на войне: часто случалось, что солдатам приходилось днями идти без подвоза свежего продовольствия вследствие трудностей снабжения; затем, когда начинали, наконец, поступать припасы, они растрачивали добрую долю вновь поступившего (420:) продовольствия, вместо того, чтобы сберечь его для других войсковых подразделений, которые могут оказаться в тех же условиях, в которых они были вчера.) Пока государство обеспечивало медицинские услуги абсолютно бесплатно, никто не чувствовал каких-либо угрызений по поводу их расточения. Но коль скоро они должны платить хотя бы номинальную сумму, они избавились от этого аттитюда «получить что-нибудь ни за что, и провались все остальные».

Возможно даже предположить, что это говорит нам кое-что о символической природе денег. Несколько монет, помимо всего прочего, значит очень мало, поскольку идет экономический обмен. Но этот знак количества может, тем не менее, сделать различие между «бесплатным» и «оплачиваемым», которое может запустить совершенно иной способ подхода к социальным связям. Часто выгода от бережливости мало что дает, к примеру, при экономии по мелочам, с проверкой вплоть до каждого пенни разницы от приобретения в супермаркете различных консервированных продуктов, особенно если вы транжирите полученную разницу на рестораны или кино. Ирония заключается в том, что люди считают, будто легче быть бережливым по мелочам, чем по поводу крупных покупок, таких как покупка дома или нового автомобиля, которые могут свести на нет все, что сэкономлено годами в супермаркете. Но социально этот тип маломасштабной бережливости имеет смысл. Вследствие того, что вы производите малые покупки много чаще, нежели крупные, вы имеете гораздо больше возможностей испытать чувство контроля над рыночными ценами таким способом, нежели в разовом предприятии, включающем гораздо более дорогостоящий предмет.

Как и во многих других вещах, именно наши субъективные ощущения мира производят расчеты объективной стоимости практических выгод, которые мы получаем. Что, в конечном счете, и удерживает общество воедино, так это не расчеты, а эти более глубокие чувства.

1.3 Возникновение договорного общества

Последователь Дюркгейма мог бы также обратиться к историческим фактам. Если мы, скажем, будем придерживаться экономических договоров, факт состоит в том, что (421:) успешные экономические контракты — это сравнительно недавняя инновация. Деловые контракты в традиционных обществах заключались как чрезвычайно церемониальным, так и отчетливо неэкономическим образом, да еще и с высокой степенью подозрительности. С одной стороны, существовали традиционные системы торговли между конкретными семьями или церемониальные объекты, которые циркулировали между различными родами в предписанной манере. Здесь было много доверия, но мало реальных экономических расчетов. Конкретное домашнее хозяйство должно было доставлять корзину бататов своим родственникам к определенному праздничному дню и получить от них корзину рыбы на рождение ребенка. Именно разновидность традиции восполняла многое в племенной экономике, а не реальная купля и продажа; стимулирование к увеличению производства и изобретению новых продуктов вообще отсутствовало.

С другой стороны, в обществах, подобных средневековой Европе или Китаю, имело место множество реальных экономических сделок (транзакций). Долгосрочные торговцы прибывали с партиями товаров, которые были произведены не для пропитания, а для того, чтобы получить прибыль. Это конституировало реальный рынок; но, поскольку партнеры по сделкам были чужими друг другу, они выполняли свои дела с большой степенью подозрительности с обеих сторон. Каждый хотел получить в свои руки товары до того, как они отдадут деньги, и никто в сознании своего права не расширял любого рода кредита без принятия крайних предосторожностей. Именно по этой причине древние и средневековые общества во всем мире не могли произвести на свет современного стиля жизни капиталистического индустриального общества.

Вообще говоря, эти общества сдерживала нехватка материальных ресурсов для экономической производительности. Мы не можем сказать, что средневековые китайцы, или итальянцы, или античные греки не были достаточно рациональны, видя, как они держались за большую выгоду, стараясь быть менее подозрительными и в большей степени стремясь к долгосрочным контрактам. Напротив, с нашей точки зрения, эти купцы были крайне рациональны. Они проявляли заботу о долгосрочных прибылях и издержках, равно как и о краткосрочном балансе. Если бы перед ними (422:) каким-то образом появился современный

американец и повторил аргументы предыдущего параграфа, они, несомненно, ответили бы, что если бы не были подозрительными, то потеряли бы даже больше денег в долгосрочной перспективе. И они были бы правы.

Решающий довод состоит в том, что когда начала существовать современная договорная экономика, это случилось именно таким образом, как предсказывал аргумент Дюркгейма. Она сделала возможным создание новых уз доверия. Возникновение капитализма было определенно сдвигом от сверхподозрительных сделок Средних веков. Деловые люди начали делать акцент на медленном, постепенном накоплении малых прибылей, повторяющемся вновь и вновь через заключение многих сделок, и это означало жизнь в соответствии с принципами их контрактов. Долгосрочные договоры начали вытеснять сомнительные и одноразовые сделки средневековых купцов. Именно это и сделало практичным массовое производство. Насколько это хорошо — обладать машинами, обрабатывающими большие объемы материалов, если не имеется способов продавать их? Тогда можно считать, что не индустриальная технология сделала возможной современную экономику, а этот сдвиг в способе ведения бизнеса сделал возможным технологические разработки индустриальной революции.

1.4 Власть и солидарность

Возражения против дюркгеймовского аргумента в этом пункте должны поблекнуть, но существует, по меньшей мере, еще одно возражение. Да, можем мы согласиться, это верно, что договоры не могут соблюдаться в чистом виде вовлеченными в них людьми, имеющими собственный интерес. Но зачем прибегать к какой-то мистичной солидарности или чувству доверия? Все это действительно необходимо, чтобы придать силу договорам в тех случаях, когда они нарушаются. Если кто-то мошенничает, вы всегда можете привлечь его или ее к суду; если что-то украдено, вы можете потребовать ареста вора. Вы можете рационально соблюдать честность в договорах, потому что знаете, что это усиливает их. Так что не какая-то иррациональная эмоция делает договоры возможными, а существование судов и полиции. (423:)

Такой ответ неплох. Чистый дюркгеймовский аргумент кажется повисшим в воздухе в качестве абсолютной абстракции. Конечно, если вы вернете его на землю, вы должны допустить, что в мире существуют суды и полиция. Кто-нибудь, кто когда-либо занимался бизнесом или легальными профессиями, знает, что люди все еще мошенничают сегодня в нашем высоко договорном обществе и вследствие этого регулярно привлекаются к суду.

Более того, этот аргумент заслуживает того, чтобы заполнить во многих важных деталях тот способ, каким исторически возникло капиталистическое общество. Вебера, в конечном счете, занимала не только протестантская этика; он уделял значительное внимание путям, которыми развивалась легальная система вместе со структурой современного государства, полицией, армией и другими учреждениями, с помощью которых может быть организован социальный порядок. Капитализм мог возникнуть только тогда, когда суды и правительства могли придать силу деловым контрактам. Основанием современного общества является не религия, а государство. Мы увидим, что преддоговорная солидарность — это дело не доверия, а дело силы. Люди живут в соответствии с договорами не потому, что могут выбрать, хотят они этого или нет.

Это сильно осязаемый и реалистичный аргумент, и он заставляет нас уделить внимание некоторым критическим разделам социальной истории, которые в ином смысле мы могли бы проигнорировать. Тем не менее, хотя это отбрасывает нас на шаг назад, но оставляет в силе дюркгеймовскую аргументацию. Что поддерживает государство? Государство — это, в конечном счете, социальная организация; оно координирует людей, которые согласились

работать вместе для достижения каких-то политических целей. Почему люди, которые создали государство, должны придерживаться договора между собой? Это возвращает нас туда, откуда мы начинали. Почему государственные чиновники должны повиноваться приказам, считая, что более благодарным делом было бы смошенничать и следовать собственным интересам? И, конечно, предполагая, что другие чиновники также рациональные индивиды, вы будете ожидать, что они тоже будут мошенничать и пытаться получить преимущество перед вами. По чисто рациональным основаниям (424:) не существует причин, по которым государство держалось бы воедино в большей степени, чем по каким-либо другим. Поэтому государство не может поддерживать общественные договоры, если оно само не покоится на какой-то преддоговорной солидарности.

Есть одна последняя линия обороны против этого аргумента. Вы могли бы сказать, что члены государственного аппарата — чиновники, полиция, солдаты армии — повинуются приказам потому, что если они не будут делать этого, государство их накажет. Теперь это верно, но только потому, что государство уже существует. Но как оказалось возможным создать такую организацию? Карающая рука государства, конечно, может оказать давление огромной силы против индивида, но она сильна до тех пор, пока существует государство, то есть лишь до тех пор, пока договор подчиняться приказам действует среди людей, которые образуют государство. Здесь опять историческая и современная реальность показывает нам, как мало можно принимать это за дарованное. Государства и армии разваливаются на части, когда люди прекращают считать себя членами группы и начинают думать только о собственных индивидуальных интересах. Именно тогда, когда армия считает, что «каждый за себя!», она панически отступает. Когда каждый в государстве мыслит таким образом, государство находится на грани революции.

По этой причине мы вынуждены согласиться, что государство удерживается воедино тем же способом, что и любая другая социальная организация: с помощью какого-то типа преддоговорной солидарности. Вебер описывал основу государства как *легитимность*. Это не рациональный расчет собственного интереса, а вера в то, что государство действительно и могущественно. Легитимность может существовать только в сознании людей, но если она там существует, тогда оно могущественно. Когда государство могущественно, оно может заставить людей подчиняться, и это в свою очередь делает его еще более легитимным. Этот процесс сам по себе образует замкнутый цикл. Иррациональная вера в государство, каковы бы ни были ее основания, создает свою собственную реальность. Хотя рациональные индивиды никогда не могли бы собраться вместе и создать государство на чисто договорных началах, люди, которые (425:) разделяют общее чувство, обеспечивают основу государства, чья мощь может подавить любого.

Это не означает, что все должны чувствовать солидарность друг с другом для того, чтобы дать возможность существовать государству. Правительство с успехом могло бы быть военной диктатурой или, возможно, временным правлением конкретной политической партии. Базовая природа политики состоит в несогласии и борьбе между различными фракциями. Но ключевой момент состоит в том, что *ни одна конкретная фракция не способна господствовать над другими у если в ее собственных рядах недостает солидарности*. Для того чтобы группа обладала такой солидарностью, ее члены должны прекратить расчет своих собственных интересов перед лицом других и чувствовать только свои общие интересы как группы. Это требует, чтобы они каким-то образом разделяли нерациональное чувство, которое заставляет их вносить свой вклад в группу, вместо того чтобы быть бесплатными пассажирами. Именно по этой причине так важны в политике идеологии, символы и эмоции.

Было бы ошибкой делать вывод, что все в обществе — это одна сплошная масса совершенной солидарности. С другой стороны было бы еще более ошибочным предполагать, что не существует ничего, кроме расчетливости эгоистичных индивидов. Как мы видели, если

каждый все время будет производить свои расчеты в одиночку, социальные группы вообще не будут существовать. Для диктаторов не было бы государств, которыми можно управлять, для расхитителей не было бы ни богатства, которое можно присваивать, ни доверия, которое можно обмануть.

Что нам нужно знать — так это просто то, что нерациональные чувства играют решающую роль в любой организации; *но степень и сила этих чувств изменчивы*. Как раз то, что индивиды чувствуют солидарность по отношению к некоторым людям в некоторых группах, и не означает, что они чувствуют ее по отношению ко всем. Чувства доверия среди членов семьи будет достаточно, чтобы удержать семью вместе (и эти чувства не будут проявляться все время — часть времени будет уходить на ссоры внутри группы). Если бы мир состоял только из семей, подобных этой, они могли бы жить в маленьких гнездах внутренней солидарности и в атмосфере значительного недоверия, направленного вовне. (426:)

Фактически многочисленные исторические общества принимали такую форму. В другой форме солидарность может быть только внутри военного режима, который строит государство, управляющее покорными массами, которые не питают доверия ни к кому из своих хозяев. Это еще один тип общества, и история видела его слишком часто.

Я мог бы продолжать, причем с разнообразными вариациями. Капиталистическая экономика с ее довольно широко распространенными формами доверия в некоторых типах экономических договоров — это уже другая версия. Здесь люди имеют достаточно доверия, чтобы вложить свои деньги в чьи-то руки, инвестировать их; они будут работать в ожидании, что будут возмещены в конце месяца; они будут принимать клочки бумаги, обещающие выплатить сумму денег со счета. Эти и мириады других мелких актов доверия делают возможным существование гигантской экономической машины. Очевидно также, что это общество полно конфликтов и имеет свои собственные основания для недоверия. Но по иронии причины недоверия зависят от причин доверия. Это происходит вследствие того, что люди кладут деньги в банки, где могут иметь место банковские ограбления; это происходит вследствие того, что большинство людей желают принимать на веру клочок бумаги, подтверждающий, что деньги могут стать сложным объектом сложных операций финансовых спекулянтов.

Социологи не отказываются от объяснения любой из них. Они стремятся показать по возможности точно, где и как работает классовый конфликт, почему случается преступление и все остальное. Они интересуются и солидарностью, и конфликтом; и фактически невозможно объяснить одно без другого. Они проявляют также интерес, почему некоторые общества являются анклавами небольших феодальных семей, тогда как другие представляют собой крупные экономические сети или диктаторские государства. Расчетливые, эгоистичные индивиды есть в любом из них. Но такие индивиды нигде не бывают очень эффективны, если они не соотносятся с нерациональными чувствами солидарности, которые удерживают группы воедино.

Индивид может господствовать над другими людьми, пользуясь, главным образом, тем преимуществом, которое возникает из их чувств солидарности. Любой, кто может убедить других, что он или она является одним из них, имеет (427:) преимущество перед ними. Самый удачливый эксплуататор — это тот, кто заставляет других почувствовать, что он или она принимает близко к сердцу их интересы. Это означает сформировать призыв как раз на том уровне и через те механизмы, которыми оперируют нерациональные чувства солидарности. Это фундаментальное оружие диктаторов, политиков и, может быть, любого, кто агрессивно преследует свои собственные интересы в обществе. В людях часто вызываются чувства солидарности, лежащие глубоко ниже рационального расчета их собственного эгоистического

интереса. Любой, кто знает, как возбудить в других эти чувства, обладает мощным оружием, используемым во благо или во зло.

Если эгоистичные индивиды нуждаются в проявлении интереса к солидарности, то это еще более справедливо для эгоистичных групп. Группы, находящиеся в конфликте с другими группами, только тогда могут существовать на первом месте, когда они внутренне едины. Солидарность и конфликт не исключают взаимно друг друга; солидарность — это решающее оружие для любого, кто желает приобрести преимущество перед кем-то другим. Побеждает обычно наилучшим образом организованная группа, а значит, группа с наибольшей внутренней солидарностью.

Марксистская теория классового конфликта тоже в известном смысле признавала это. Ключевой вопрос для марксистов состоял в том, каким образом людям, особенно рабочему классу организовать себя, чтобы эффективно бороться за власть. Обычно это описывалось как проблема формирования «классового сознания», то есть осознания индивидуальными рабочими своих интересов как особой группы. Однако эта проблема ни в коем случае не может считаться простой. Человеческие чувства солидарности никоим образом не выстраиваются в линию, на полюсах которой сосредоточились две отчетливо разделенные группы — капиталисты и рабочие. Значительную часть времени люди могут действовать как чисто эгоистические индивиды, например, различные бизнесы ни в коем случае не союзники, когда они конкурируют друг с другом на одном и том же рынке, и рабочие не объединяются, если они соперничают за конкретную работу или продвижение.

Тем не менее, при конкретных условиях эти распри между индивидами отодвигаются в сторону, и группы (428:) формируются. Но сколько будет групп? Магическое число «два» возникает не очень часто. Часто имеется много различающихся деловых интересов — банкиров в сравнении с промышленниками, розничных торговцев в сравнении с экспортерами и в сравнении с фермерами, — и это представляет собою сложную систему надувательств в борьбе за интересы, которые составляют так много в обычной политике. Подобным образом рабочие могут объединяться в тред-юнионы, но различные юнионы могут с успехом оказаться лишними друг для друга. Возчики могут оказаться в конфликте с автомобилистами; члены тред-юнионов могут монополизировать рабочие места, делая их недоступными для рабочих, не являющихся членами профсоюзов. Женщины-работницы могут испытывать дискриминацию со стороны рабочих-мужчин, и то же самое может случиться между черными, белыми и этническими группами.

Проблема для марксистского теоретика состоит не в том, что в мире слишком мало классовых конфликтов, а в том, что их слишком много. Это не один лишь классовый конфликт между рабочими и капиталистами. В социалистических обществах возникают конфликты между рабочими и бюрократами, фракционные битвы между членами коммунистической партии, армии и секретной полиции. Социологи знают это давно, и весь мир узнал об этом после неожиданной революции в Восточной Европе в 1989 г. и открытой вспышки хаотической борьбы в СССР. Поскольку социалистические общества развалились, в сравнении с ними капиталистические общества для большинства людей выглядят хорошо. Но этот момент возбуждения не должен закрывать нам глаза на то, что все общества, включая наше собственное, полны конфликтующих групп на различных уровнях интенсивности. Как указывал немецкий социолог Ральф Дарендорф, любая ситуация власти между людьми, отдающими приказы, и теми, кто приказы получают, ведет к потенциальному конфликту. Любая современная социальная структура содержит в себе потенциал для борьбы между классами, находящимися у власти. Хуже того, этнические, расовые, религиозные и религиозные идентичности полны опасной энергии, готовы к борьбе за господство и иногда — к избиению друг друга. Эта мрачная сила этнического и религиозного насилия проявилась в разрушении Советской (429:) власти в собственных республиках и в Восточной Европе. Мы

видим также ужасные примеры разрушительной мощи в Индии, на Ближнем Востоке и повсюду. В Соединенных Штатах этнические и религиозные проблемы скорее тлеют, чем горят, но здесь тоже иногда аргументы и оскорбления оборачиваются пулями и бомбами.

Для социологов конфликты и солидарность — это две стороны одной медали. Группы часто имеют наибольшую внутреннюю солидарность, когда они мобилизуются против внешнего врага. Конфликт ведет к солидарности, по крайней мере, в некоторых группах и наоборот. Мы стремимся показать, почему в различные времена существует целый спектр различных групповых рядов. Когда существует большое число конкурирующих групп — будь то экономические группы или группы занятости, расовые и этнические группы, семьи, политические партии или социальные движения? Когда они сгущаются в ряды, состоящие лишь из немногих групп? И в противоположной крайности, — когда изолированные индивиды полностью отрывают себя от любых групповых связей и преследуют только свои эгоистические интересы?

Все эти проблемы никоим образом невозможно разрешить с помощью одной лишь социологической теории. Но я убежден, что некоторые из решающих механизмов, с помощью которых имеют место эти события, можно понять. Главный урок, который можно извлечь из этой главы, состоит в том, что групповая организация не зависит от рациональных расчетов. Группы образуются вовсе не по Марксу, который думал, что это происходит, когда люди *осознают* свои общие интересы. Сознательность и интересы лежат лишь на поверхности вещей. Под поверхностью же лежит сильная эмоция, *чувство* группы людей относительно их схожести и совместной принадлежности.

Мы не говорим, что интересы людей не являют собою нечто реальное. Но причины, о которых я говорю, что они лежат на поверхности, состоит в том, что люди имеют все виды интересов, некоторые из которых сводят их с другими, а другие разделяют их. К примеру, врач «очевидно» имеет интерес в объединении с другими врачами для того, чтобы монополизировать доход от медицинской практики; в то же самое время в равной степени в интересах врача соперничать (430:) с другими врачами за пациентов. Такого же рода вещи можно сказать о рабочих в тред-юнионах или членах любой другой группы. Эта дилемма действует в той же степени, в какой группы должны выбирать, соперничать ли им с другими группами, или объединяться с ними; в равной степени в интересах тред-юниона конкурировать за привилегированную оплату, как и объединиться, чтобы бороться за интересы всех рабочих. Рациональные интересы одновременно и притягивают и разделяют людей. И проблема бесплатного пассажира всегда с нами, искушая индивидов взять все лучшее себе, обойдя других членов своей группы.

Тем не менее, вопрос о том, которые из интересов победят, — это не дело рациональных расчетов. Это зависит от чего-то более глубокого: от моральных чувств, которые объединяют людей в группу. Я берусь утверждать, что процессы, которые продуцируют эти моральные чувства, — это *социальные ритуалы*. Когда такие ритуалы сделали свое дело, и группа создана, интересы, которые объединили людей в этой группе, приобретают новый статус. Интересы становятся моральными *правами* и приобретают вокруг себя что-то вроде символического гало справедливости. С иной точки зрения это можно было бы назвать идеологией. Ключевой вопрос состоит в том, что группы не только состязаются за конкурирующие интересы, но они также всегда рассматривают свои собственные интересы с моральной точки зрения. Как мы увидим, если они не будут делать этого, они даже не смогут существовать как группы. Ищем ли мы основу классовых конфликтов или солидарности, лежащей в основе договорного общества, мы приходим к вопросу о том, почему некоторые люди чувствуют, что они могут доверять другим. Дюркгейм показал, что чувства доверия не могут зависеть от рациональных расчетов, а должны иметь более глубокий, бессознательный

источник. И, подняв эту проблему, Дюркгейм продолжил ее решение до своей теории социальных ритуалов. Это и будет темой следующей главы. (431:)

Глава 2. Социология Бога

Есть две очевидных позиции, которые вы можете занять относительно религии. Или вы верите в Бога, или не верите. В первом случае это некая Верховная Реальность, которая выходит за пределы всего того, чем занимается социология. В другом — это иррациональный предрассудок по поводу таких вещей, которые не имеют права на существование.

Социальные мыслители по большей части принимали второй из этих аттитюдов. Утилитаристы и рациональные реформаторы, в общем, были склонны смотреть на религию как на архаическую иррациональную силу. Это источник предрассудков, веры в невидимый мир духов и привидений. Правовые реформаторы рассматривают религию как институт инквизиторов и охотников за ведьмами, сжигающих людей у столба за верования или ошибочные суждения, на основании того, что они были колдунами. Радикалы трактуют религию как сторонника сложившегося статус-кво, разновидность агентства правящего класса, которое заставляло людей мириться с экономической и политической несправедливостью в обмен на обещание жизни в раю после смерти. Рациональные интеллектуалы вообще не видят оснований для веры в теоретическую догму, считая религию реликтом Темных веков, чем-то постепенно отмирающим по мере модернизации обществ.

В течение какого-то времени это предсказание казалось верным. Конечно, религия в самом деле потеряла большую часть той власти, которую она имела над людьми всего несколько столетий назад. Колдунов больше не сжигают на кострах, и вера в недоброжелательных духов в значительной степени исчезла. Церкви стали менее догматичными и более терпимыми. Приверженность (432:.) религии приходит в упадок. Люди больше не посещают ежедневную мессу и не сидят на длительной субботней проповеди. Кажется, постепенно мы достигли такого положения, когда не только магазины открыты по воскресным утрам, но и люди с такой же вероятностью смотрят футбольный матч и играют в гольф, как и ходят в церковь. Церковь утратила свою власть над тем, чтобы запрещать людям поступать подобным образом, равно, как и на то, чтобы мотивировать людей в других аспектах их жизни. Подобные тенденции можно обнаружить по всему миру. По мере того, как традиционные племенные и аграрные общества выходят на современную орбиту, их разнообразные религии также начинают утрачивать свою власть. Можно было бы ожидать, что религия совсем исчезнет.

Но этого не происходит. В Соединенных Штатах религия далека оттого, чтобы умереть. Даже здесь, где наука и техника поднялись до очень высокого уровня, а образование распространено больше, чем где бы то ни было и когда бы то ни было в истории, ожидания, что религия рухнет под давлением рациональности, не сбылись. Вместо этого мы видим, что религия оживает во множестве разновидностей. Появилось новое движение неистового фундаменталистского христианства, которое принимает Библию как буквальную истину и гневно обвиняет все то, что оно расценивает как моральное падение современного мира. Эта религия не просто пассивно обороняется, а предпринимает активные наступательные действия вмешательства в текущую политику в усилиях отвоевать прежнюю принуждающую власть церкви. Одновременно в западные общества активнее, чем в прежние времена, проникают восточные религии. В огромном числе появляются последователи Кришны, индуистских гуру и буддистских монахов, в то время как Ислам особенно успешно находит своих сторонников среди черного населения. Широкий интерес вызывают астрология и оккультные науки, которые пропитывают масс-медиа. Некоторые из этих разновидностей религий и оккультнических движений появляются в наши времена вновь и вновь. Очевидно, предсказание устойчивой тенденции тотальной секуляризации и рационализма было неверным.

Однако для социолога в религии наиболее значительными не являются ни одна из двух очевидных позиций отношения к ней, — ни благорасположенность к религии, ни (433:) противостояние ей. Существует третья альтернатива. Дюркгейм создал неочевидную теорию религии, в которой ключом к религии выступает не вера, а социальные ритуалы, исполняемые ее приверженцами. Религия — это ключ к социальной солидарности, а религиозные верования важны не по своему собственному праву, а как символы социальных групп. Поэтому религия приобретает важность как первичный пример нерационального феномена, играющего основную роль в социальной жизни. Более того, анализ религии приводит нас к очень важной общей теории, которая дает возможность понимания социальных ритуалов и те пути, на которых создаются и моральные чувства, и символические идеи. Эта теория имеет приложения, далекие от религии как таковой. Она помогает нам объяснить политику и политическую жизнь, а также динамику солидарности, которая делает возможными конфликты между социальными группами. Она даже сообщает нам кое-что о частных секуляризованных сферах современной жизни. Вам не обязательно быть религиозно или политически активными, чтобы испытать на себе релевантность социальных ритуалов. Они пронизывают современную жизнь, так же как и любой другой период истории. Меняются лишь формы организации ритуалов. Поэтому я прослежу за вариациями ритуалов от дюркгеймовской социологии религии до социологии повседневной жизни Гоффмана.

Не было случая, чтобы подобная теория связывала эксцентричную практику и верования примитивной религии с теми типами поведения современной жизни, которые предпринимаются для получения вознаграждения. Потому что если само общество возможно лишь на нерациональном основании, тогда даже наша сегодняшняя самосознающая рациональная мысль должна покоиться на каких-то нерациональных процессах. Это как раз то, что и помогает объяснить теория социальных ритуалов. Объясняя природу богов, социологи открыли объяснение ритуалов и символов, без которых невозможно существование любого рода групп.

2.1 Общая основа религий

Базовое предположение Дюркгейма состоит в том, что религия представляет собою нечто реальное. Будучи сам атеистом, он не видел причин, по которым должен существовать (434:) трансцендентный, сверхъестественный Бог, не говоря уже о множестве богов и богинь, ангелов, дьяволов, демонов или духов, в которых люди различных религий веровали в то или иное время. Тем не менее, как же могли люди впасть в заблуждение в течение столь длительного времени, фактически на протяжении всей истории? Как могут эти различные виды верований продолжать сохранять влияние среди огромных слоев населения даже сегодня? Нечто, во что так сильно поверили люди, едва ли могло базироваться на ошибке в размышлениях. Должно существовать нечто, соответствующее этим религиозным верованиям, что-то реальное, что могли символически увидеть люди под маской богов. Хотя эта реальность, которую представляют боги, — вовсе не то, чем провозглашают ее верующие, она имеет символическую силу чего-то очень мощного. Люди всегда считали богов или духов более могущественными, чем обычные люди. Тогда то, что представляет религия, должно быть гораздо более могущественным, чем любой отдельно взятый индивид.

Как бы вы попытались удостовериться в том, что представляет собою религия? Первый шаг любого анализа заключается в том, чтобы сравнивать. Чем общим, спросим мы, обладают все религии? Не какая-либо конкретная доктрина Бога — не Иегова и Иисус, Аллах и Мухаммед, Кришна, Вишну, Изиды или Зевс. При этом не обязательна концепция о существовании единственного бога, поскольку есть немало религий с более чем одним: пара доброго и злого — Агумаразды и Аримана — у зороастристов, пантеон античных греческих и римских богов, восседавших на Олимпе, множество богов у древних индусов и много других. Речь даже не о понятии какого-либо бога вообще: буддизм, к примеру, явственно представляет собою

религию, но его базовая концепция просвещения совершенно атеистична. Нет богов и во многих племенных религиях, хотя там есть тотемные животные, растения, камни и тому подобное, составляющие объект культа.

Скорее все религии имеют две общие черты: определенные верования, которых придерживаются их приверженцы, и определенные ритуалы, которые верующие коллективно исполняют.

Базовое религиозное убеждение состоит в том, что мир делится на две категории: *священное* и *не-священное* (435:) (*мирское*). *Священным* может быть что угодно: духи, невидимые боги, конкретные животные или деревья, алтари, кресты, святые книги, особые слова, которые могут произносить только те, кто прошли инициацию, или песни, которые только они могут петь. Отличительная особенность *священного* состоит в том, оно опасно и в высшей степени важно: вы должны подходить к нему серьезно, уважительно и с необходимыми приготовлениями. *Не-священные* вещи образуют остальной мир: все другие вещи, с которыми вы можете иметь дело в реальной действительности, с чем угодно, чего вы желаете, что вы находите полезным или желательным.

Это базовое религиозное верование: дуализм священного и не священного. Вместе с ним творится религиозное действие, а именно — *ритуал*. Ритуал существенно отличается от обычного поведения. Обыкновенное практическое действие, такое, как прогулка по улице, выполнение своей работы, покупка чего-то в лавке и что угодно другое может выполняться различными, какими угодно способами. Нет никакой разницы в том, как вы проделываете это. Ритуалы же — это строго детерминированное поведение. В ритуалах именно формы имеют значение. Произнесение молитвы, пение гимна, исполнение простейшего жертвоприношения или танца, шествие в процессии, коленопреклонение перед идолом или крестное знамение — в них действие должно совершаться правильно. Ритуалы — это не средство достижения последующей цели, как способы практических действий; вы не можете сказать, что нет разницы, как вы делаете их, пока не достигнете цели, поскольку форма ритуала — это и есть его цель. Он исполнен значения, если выполняется правильно, и ничего не стоит, если совершен неправильно.

Таким образом, религии состоят из верований и ритуалов, и обе эти стороны связаны между собой. Ритуалы — это процедуры, посредством которых люди должны вводить себя в мир тех вещей, которые они считают священными. Равным образом идут вместе и противоположные этим двум понятия: обычное, неритуальное поведение — это то, как вы ведете себя в присутствии несвященного. Как мы увидим, Дюркгейм отдавал приоритет ритуалам перед верованиями. В определенном смысле правильное исполнение ритуала — это и есть то, что дало начало вере в священное. (436:)

Теперь возникает вопрос: так как же люди могли изобрести это различие? Почему появилась эта почти универсальная повсеместная тенденция разделять мир на священное и не-священное? В природе нет ничего подобного. Животные не делают такого различия. В физическом мире все находится на одном и том же уровне. Почему же люди воображают, что он наполнен невидимыми духами, богами, силами, которые требуют определенного типа капризного уважения и становятся опасными, если им не повинуются. Нетрудно убедиться, что в мире существует немало вполне реальных опасностей, но люди должны быстро научиться, как обращаться с ними на практике. С чисто практической точки зрения главное занятие религии — это наполнение мира галлюцинациями.

Однако есть одна реальность, которая обладает всеми характеристиками, которые люди приписывают божествам. Она ни естественна, ни метафизична. Это *само общество*. Поскольку общество — это сила гораздо большая, чем любой отдельно взятый индивид. Оно

привело нас в жизнь, и оно может убить нас. Каждый из нас зависит от него бесчисленными способами. Мы пользуемся орудиями и умениями, которых мы не изобретали; мы говорим на языке, который пришел к нам от других. В сущности, весь наш материальный и символический мир получен нами от общества. Институты, в которых мы обитаем — наша форма семьи, экономики, политики и чего бы то ни было, — пришли из накопленного опыта других, короче — из общества. *Бог — символ общества.*

Поэтому не будет иллюзией почувствовать, что вне нас существует нечто очень могущественное и все же не являющееся частью обычной физической реальности, которую мы видим перед своими глазами. Более того, это нечто — чувство нашей зависимости от общества — существует одновременно вне и внутри нас. В религиях всегда есть связь между священным миром за пределами нас и чем-то священным внутри нас самих. Бог одновременно — и вне, и внутри. В продвинутых религиях, таких, как Христианство или Ислам, сложилось понятие индивидуальной души, которая принадлежит Богу. В тотемической религии примитивных племен также имеется подобная связь, поскольку каждый член племени идентифицируется с тотемом. Если священное животное австралийского клана — кенгуру, тогда (437:) каждый член клана чувствует, что он — тоже некоторым образом кенгуру. И это убеждение находится в соответствии с чем-то реальным. Мы являемся частичками общества: оно существует только в виде агрегата, состоящего из нас.

Более того, наши внутренние собственные личности сконструированы из частей, которые приходят к нам извне. Наше имя, наша самоидентичность приходят из тех способов, какими мы связаны с другими людьми и какими люди связаны с нами. Мы часто думаем о себе, употребляя свои собственные имена, но мы редко создаем эти имена сами. Даже если вам пришлось сменить имя, данное вам вашими родителями, вы обнаруживаете, что вы известны под прозвищем, данным другими людьми. И более глубокие аспекты нашего само-имиджа приходят даже более мощно из нашего опыта общения с другими людьми. Думаете вы о себе как о хорошо выглядящем, обыкновённом или откровенно неприятном? Ощущаете себя доверчивым, поддающимся влияниям, спонтанным, тревожным или торопливым? Эти чувства относительно себя сформировались по большей части в соответствии с теми способами, какими другие люди обращались с вами. Эта зависимость само-имиджа от других людей хорошо известна в социальной психологии. Мы склонны смотреть на себя глазами других людей. Для объяснения этого факта социолог Чарльз Хортон Кули использовал понятие «сам смотрящийся на себя в зеркало».

Наиболее сокровенное из всего, само наше сознание, социально. Мы мыслим словами, но придумали их не мы. Мы не могли бы думать вообще, не обладай мы идеями, и мы руководствуемся в своем поведении определенными идеалами. Но ни идеи, ни идеалы мы не могли бы изобрести в одиночку. Идеи и идеалы должны нести в себе что-то *общее*; они являются понятиями, которые превосходят конкретное и которые показывают каждую конкретную вещь, как пример более широкого класса вещей. Но природа всегда представляет нам себя в виде частных, никогда не предлагая нам обобщений. Наблюдение природы никогда не смогло бы дать нам общих понятий. Каждое дерево поистине уникально; и только потому, что мы обладаем *общей идеей* дерева, мы можем увидеть сходство между деревьями и потому обращаться с ними как с представителями одного и того же класса вещей. (438:)

Единственный способ, с помощью которого мы можем превзойти «здесь-и-сейчас» *данной* конкретной вещи в *этом* конкретном месте, состоит в том, чтобы поставить себя в выгодную позицию, такую, которая пересекает время и пространство. Но именно это и делает общество. Следовательно, когда бы мы ни мыслили, мы делаем это с помощью понятий, которые берут свои истоки в социальной коммуникации. Коммуникация всегда должна подниматься выше точки зрения одного отдельного индивида до моста обобщения, связывающего одну человеческую реальность с другой. Социальная коммуникация — это то, что создает базовый

репертуар идей, постольку, поскольку идеи являются абстрактными понятиями. Поскольку мы используем эти идеи для мышления, наш ум пронизан обществом. Мы не можем убежать от общества, даже когда мы одиноки. Пока мы находимся в сознании, общество имплицитно присутствует в нем.

Таким образом, общество постоянно присутствует и вне нас, и внутри самой сердцевины нашего сознания. Вот что делает столь могущественным символизм религии: он выражает сущностные факты нашего человеческого существования. Вот почему религиозный символизм инкорпорировал идеи человеческой идентичности, равно как и социального долга, и почему существует идея души, равно как и определенного типа бога или духовной силы, которая управляет вселенной. И, поскольку религия символизирует главные факты общества, она всегда должна была оставлять место для конфликта в своей системе символов. Поскольку общества никогда не бывают тотально едиными, религия всегда должна описывать существование конкурирующих богов, еретиков, злых духов или дьявола. Символизм религии зеркально отражает социальный мир.

2.2 Почему люди обладают моральными чувствами?

Но религия — это больше, чем интеллектуальная реальность. Помимо всего, она еще и моральная сила. Это также преимущественно социальное. Понятия правильного и неправильного — прирожденно коллективные. Большинство из них регулируют связи между людьми: запреты на (439:) убийство, ложь и воровство или положительные предписания любить или помогать своему ближнему. Ни одно из этих правил не делает ощутимых исключений в социальном контексте. Даже эти моральные правила, которые не относятся явно к социальному поведению, имеют лежащий в основе их социальный компонент. Уважение к ритуалу — правильно, а нарушение его — неправильно, потому что так это декретирует группа. Для верующего, например, оскорбительно, если кто-то плюнет на Библию, но только потому, что группа, к которой он принадлежит, сделала из Библии сакральный объект.

Основная идея моральности подразумевает наличие силы за пределами любого отдельно взятого индивида, силу, которая создает требования и наказывает проступки. Эти требования и проступки необычны. От вас ожидают, что вы будете следовать моральной обязанности независимо от того, полезно это для вас или вредно. Если вы верите, что воровство неправильно, тогда оно останется неправильным, даже если бы вы получили приличную выгоду с помощью воровства; оно будет продолжать оставаться неправильным, даже если вас ни разу не поймали. Наказание за моральное нарушение — это скорее другая реальность, точно так же, как вознаграждение за моральное поведение — в Раю или в какой бы то ни было священной реальности, которая рассматривается в этом обществе.

Что такое реальность Рая или Ада и их эквивалентов в других религиях? Это единственная реальная сила, которая может занимать свое место в обществе как таковом. Моральная правота — это то, что делает вас членом группы, обладающим хорошим положением; ее вознаграждение конституирует уверенное ощущение принадлежности. Это то, что символизирует Рай. Моральное зло — это проступок против группы, и наказание его в чисто моральном плане носит автоматический характер: исключение из членства. В символизме христианской теологии Ад — это изгнание грешника от Бога. Моральное наказание — это отрешение от чувства принадлежности к обществу.

Почему люди привержены заповедям морали? Прежде всего, вследствие того, что этого требует группа. Но также и потому, что индивиды хотят принадлежать к группе. Людям трудно избежать некоторых моральных или иных (440:) чувств вследствие того, что почти каждый присоединен к какой-то социальной группе. Поскольку они хотят принадлежать к группе, они автоматически присоединяют себя к ее морали. Именно социальные связи

продуцируют эти спонтанные чувства того, что рассматривается как правильное и неправильное.

Это необязательно означает, что каждый разделяет ту же мораль или каждый испытывает интенсивные моральные чувства. Напротив. Если мораль исходит из группового членства, тогда тот факт, что в обществе существуют различные типы групп, что группы конфликтуют друг с другом, и что индивиды могут присоединяться к группам или покидать их, означает, что будет существовать множество различных моралей. Та группа, к которой кто-то хочет принадлежать, и будет детерминировать, каким типом моральных чувств он будет обладать. Если группы находятся в конфликте, тогда их моральные нормы также будут конфликтовать. Это истинно в секуляризованном мире, равно как и в сфере религии. Люди, которые принадлежат к противостоящим политическим партиям, расценивают свою собственную позицию как правильную, а политику своих оппонентов как неправильную, в той же мере, в какой приверженцы конкурирующих религий чувствуют себя праведниками, а своих противников — грешниками.

Какой бы ни была группа, люди, если они хотят принадлежать к ней, должны чувствовать какой-то тип морального обязательства. Это звучит так, как если бы индивид должен чем-то пожертвовать, чтобы стать ее членом. Жертва в достаточной степени реальна, но имеются компенсации за нее.

Одно из главных убеждений в необходимости своей принадлежности к группе так близко к поверхности, что его можно увидеть невооруженным глазом. Оно неосознано, но вполне реально. Это та эмоциональная энергия, которую люди получают от принятия участия в общественных собраниях. Именно благодаря этой энергии, люди могут делать в толпе такие вещи, каких не могут или не будут делать в одиночку. Толпа заставляет их почувствовать себя сильными, потому что они ощущают себя частью чего-то такого, что гораздо сильнее их как индивидов. Она также дает им возможность ощутить свою правоту, потому что, (441:) участвуя в общей деятельности, они делают нечто большее, чем простая активность по преследованию собственных эгоистических интересов. По этим причинам люди, действуя в группе, способны на гораздо большее напряжение, чем обычно, когда они одиноки. [??? А эффект групповой лени? — *Е. Волков*]

В наиболее общей форме мы наблюдаем это во время спортивных состязаний. Индивидуальный атлет, побуждаемый большой и сочувствующей толпой, и атлеты, играющие в составе сыгранной команды, иногда совершают такое, что выходит за пределы того, что они сами обычно считают возможным. Но ведь такого же рода чувства играют свою роль и в очень опасных ситуациях, наподобие военных сражений. Обычный уровень мужества людей не очень высок, особенно когда каждый из них действует сам по себе. Но во время боевых действий войска часто стоят вместе под очень плотным огнем и идут почти на верную смерть; мужество длится до тех пор, пока группа держится вместе и чувствует, что каждый подвергается той же опасности.

Поэтому энергия и моральная сила собранной воедино группы — и очень мощная, и потенциально очень опасная. Именно такие групповые ситуации приводят индивидов к высочайшим уровням альтруизма. Они становятся способны на героические действия и личное самопожертвование. Они способны стать мучениками, особенно если это может быть сделано на людях и с выражением сильной поддержки. В то же время толпа легко теряет чувство самообладания. Моральная энергия может быстро стать фанатической и оказаться повернутой во многих различных направлениях. Из возбуждения собранных масс рождаются крестовые походы и совершаются революции. Группы меньших размеров обычно бывают менее возбудимы, но они также обладают эффектом подъема энергетического уровня людей, которые входят в них.

Поэтому один из очень действенных способов добиться доверия и притока энергии состоит в том, чтобы принимать участие в напряженной групповой ситуации. У политики и религии общие корни. Религиозные лидеры или политические ораторы, в частности, стремятся получить высокую степень личной энергии от своей социальной роли. Лидер, который может фокусировать на себе внимание толпы, который может выражать идею толпы, которой обладает (442:) аудитория в целом, сам наполняется особой энергией. Если группа в достаточной степени возбуждена, лидер вдохновляется больше, чем обычная личность. Он или она становится харизматиком, избранным, героем, даже холической фигурой. Энергия, которая продуцирует эту трансформацию, исходит не от лидера. Это энергия группы, наращенная путем прохождения через собравшуюся толпу и посланная в фокус лидером, который говорит им и для них. Лидер — это канал для коллективной энергии, и то, что зримым образом экзальтирует его или ее, находится выше индивидов, в массе. Но секрет власти лидера над группой — в ней самой. Именно аудитория создает пророка; именно движение создает лидера.

Лидер пожинает наибольшие вознаграждения от участия в групповой деятельности. Политический лидер, выступающий за групповые идеалы, становится ее энергетическим лидером. Проповедник, говорящий перед массами, становится самой святой личностью в церкви, потому что он является центром церемонии, которую остальные наблюдают. Но обычные рядовые члены группы тоже могут получать эмоциональную выгоду. Они не получают столь же мощной энергетической волны, того же ощущения правоты, как лидер, но они приобретают личную силу и уверенность от участия в групповых собраниях. Чем с большим энтузиазмом они веряют себя духу собрания, тем большее чувство экзальтации получают. Участвуя в своей церкви, в своем политическом митинге, они могут приобщить себя, они приобретают приращение энергии и доверие к себе, что заставляет их почувствовать себя способными достичь таких вещей, которых они не смогли бы достичь иным путем.

Таким образом, групповые собрания являют собою разновидность некой машины для трансформации энергии. Путем вхождения в групповую ситуацию индивиды могут сделать себя сильнее и целеустремленнее. Это скрытая форма оплаты, которая объясняет продолжающуюся привлекательность религии и ее секуляризованных эквивалентов.

Дуализм священного и мирского, это базовое различие, которое составляет содержание всех религиозных верований, соответствует чередованию двух способов социальной организации. Значительную часть времени общество находится в дисперсном состоянии; люди решают свои земные (443:) задачи — едят, потребляют, следуют своим практическим интересам и заботам. Уровень коллективной энергии низок, поскольку люди могут черпать ее только из своих собственных ресурсов. Однако на смену этим дисперсным временам приходят времена сбора. Это архетипические религиозные ситуации. Это могут быть церковные соборы или празднование племенного обряда. В любом случае собрание общества изменяет энергетическую динамику. Например, настроение австралийского клана, собирающегося вместе, являет собою концентрацию и взаимную стимуляцию, которая проскакивает среди собравшихся членов подобно электрическому заряду. Возникают общие эмоции. Мир повседневных мирских забот вытесняется другим настроением, более интенсивным и направленным на иные цели. С помощью ее символов группа больше не фокусируется на индивидуальных задачах светского мира, а на коллективном себе. Вне его люди извлекают смысл высшей сферы, которую они называют божественной. Это сфера духовного, ибо именно в его рамках группа принимает совместное участие.

2.3 Общая модель социальных ритуалов

Если мы рассмотрим элементы, продуцирующие религиозное чувство, мы придем к общей модели социальных ритуалов. Как указывалось, на это можно смотреть как на формулу

машины для трансформирования энергии, а также машины для создания социальных идеалов или символов.

Каковы же компоненты этой машины?

Прежде всего, *группа должна быть собрана вместе*. Именно ощущение физического присутствия других людей дает начало потоку энергии, создавая заразительную эмоцию.

Но самого по себе этого недостаточно. Все индивиды в группе должны придти к ощущению одной и той же эмоции и осознать, что другие разделяют ее. Поэтому *действия должны быть ритуализованы*. Люди должны выполнять паттерны поведения, координируя свои жесты и голоса. Это может делаться в унисон или посредством сценария, в котором каждая личность играет свою ожидаемую роль. Ритуализованные действия регулярны и ритмичны, будь то (444:) песнопения, совместные танцы или аплодисменты аудитории словам лидера. Именно общее действие дает группе возможность почувствовать себя группой. Это уже не статичное скопление индивидов, а динамичная, взаимно сцепленная сила.

Наконец, существует эмблема — символический объект, который *фокусирует саму групповую идею*. Могущество группы — это ее энергия и ее моральная сила, но людям трудно прямо понять это. Сами участвуя в ней, люди не могут видеть, что она собою представляет. Они должны быть представителями ее реальности в конкретных формах. Они *материализуют* ее: они верят в то, что она реальная, почти физическая вещь. Таким образом, они постигают духа, который движет ими и объединяет их как сакральный (священный) объект. Это тотемное животное, под чьим именем они собираются, или Бог, которому они молятся. В современной политической разновидности это нация, партия или политическая идея (например, демократия, или социализм, или революция), за которую, как они чувствуют, они сражаются.

Основополагающая реальность любого символа — это сама группа, а более конкретно — настроение, которое ощущают ее члены, когда они собираются и выполняют свои ритуалы. Это чувство групповой идентичности закрепляется за идеей, которая одновременно выступает идеалом — совершенным или божественным существом, которому индивиды должны подчиняться сами, взамен чего они получают безопасность и эмоциональную силу.

Эмоция, закрепляемая за идеей, диффузна и заразительна. Она имеет свойство настолько превосходить обычную реальность, что ее сущность нельзя полностью постичь. Она имеет также свойство распространяться и «прилипать» к отдельным конкретным объектам. Не только к мифическому тотему или всемогущему Богу, но также и к вырезанной из дерева эмблеме, которая представляет тотем, или алтарь, или крест, с помощью которых происходит поклонение Богу. Таким образом, с уважением должно относиться не только к сакральным идеям, но и к сакральным объектам.

Существование сакральных предметов дает религиям еще и другое измерение. Поскольку они конкретны и (445:) материальны, такие объекты дают ощущение постоянства. Дух группы живет в них даже тогда, когда группа не собирается. Достаточно верным можно считать, что чувства экзальтации и эмоциональной силы, которые исходят от группы, не смогли бы выжить, если бы группа не могла собираться вновь в течение слишком большого времени. Продуцирующая эмоции машина должна периодически запускаться, поскольку ее заряды стекают в промежуточные периоды. Но конкретные символы могут действовать как батареи, накапливая социальную энергию и напоминая полноправным членам о том, во что они верят, и о чувствах, которые они представляют.

Символы могут быть также использованы для того, чтобы собрать группу вновь, запустить машину снова. Коли уж сакральная эмблема наполнена эмоциональным значением, она может

быть использована как фокальная точка, вокруг которой может быть исполнено другое свершение ритуального обряда. Таким образом, конкретные эмблемы переносят хотя бы минимальные чувства солидарности из одного ритуального празднования в другое. Именно от длительности существования таких эмблем зависит длительность групповой идентичности.

Такой же принцип применим к словам как физическим объектам. Если крест или флаг могут быть конкретными символами группы, равным образом той же цели могут служить конкретное имя или изложение верования. Поэтому имена богов всегда были священными для верующих в них, то же самое касается отдельных доктрин, которых придерживаются верующие о своей религии. Так же, как в случае с физическими эмблемами, эти вербальные символы служат тому, чтобы вновь возбуждать ощущение членства, когда кто-то находится в одиночестве и чтобы вновь собирать группу для новых религиозных обрядов. Конкретные имена и доктрины принимают на себя эмоциональные заряды из ритуалов, в которых они берут свое начало и, следовательно, служат в качестве базиса социальной памяти и отправной точки для постановки новых представлений ритуала. Поскольку слова могут циркулировать в человеческих головах, тот факт, что они могут служить в качестве сакральных символов, придает внушительную гибкость «машине» социального членства. Даже без физических эмблем люди (446:) могут заново вызывать чувства групповой солидарности, лишь вспоминая определенные фразы или называя конкретное имя — Аллаха, Иисуса или кого-то иного. Если они делают это совместно с другими людьми, сам их разговор трансформируется в импровизированный социальный ритуал.

Этот последний пункт особенно важен, потому что он дает людям ключ к тому, как действовать по отношению друг к другу. С одной стороны, если два человека почитают одни и те же сакральные эмблемы и одни и те же святые имена, разделяют одни и те же доктрины, то они знают, что принадлежат к одной и той же ритуальной общине. Они могут идентифицировать друг друга как членов группы, которая имеет чувства коллективной солидарности и силы. Они оба знают, как действовать в качестве частей определенной эмоционально-трансформирующей машины, которая поднимает их на более высокий уровень безопасности и энергии. И в их собственных встречах, даже в коротких разговорах, они могут выполнять миниатюрный ритуал, который дает им непосредственную эмоциональную выгоду. Он дает им также особую идентичность, способ самоопределения. В племенной Австралии те, кто поклоняются одному и тому же тотему, разделяют общее имя. К примеру, все, кто называют себя кенгуру, считают себя родственниками и чувствуют себя связанными обязанностью помогать и не наносить вреда друг другу, точно так же, как они не имеют права убивать само кенгуру. В христианстве и исламе единоверцы называют себя именами своих сект и чувствуют себя братьями по вере. Они идентифицируются с победами и несчастьями друг друга и ощущают обязанность приходить на помощь друг другу. Такие же связи общей идентичности и моральной солидарности обнаруживаются среди приверженцев любой другой сильной религиозной или политической доктрины.

Но этот же принцип работает и в отрицательном смысле. Священные символы наделяют людей способностью идентифицировать тех, кому они не могут доверять. Потому что, если существование священных символов указывает на общую идентичность и моральные узы между теми, кто поклоняется тому же культу, столкновение с кем-то, кто не признает те же священные объекты, указывает на разграничение (447:) между группами. По крайней мере те, кто не разделяет общей веры в те же символы, ощущают недостаток положительных эмоциональных связей; они чужие, аутсайдеры для всех членов группы.

Такого рода чувства из простой нейтральности могут без труда развиваться в открытую враждебность. Фактически именно существование священных объектов создает возможность враждебности. Ритуальный культ создает чувство принадлежности и разделяемой морали, которых не было бы без культа; любые действия, которые нарушают ритуал, угрожают

чувству групповой безопасности. Следовательно, это вызывает гневный ответ. Осквернить святое место, или сжечь Библию или тотемную эмблему или флаг, обругать святое имя или произнести замечание, исполненное политической нелояльности, означает бросить вызов группе, которая организует себя вокруг этого символа. То же самое будет справедливо относительно несогласия с доктриной, которую группа принимает в качестве символа веры: это образует социальную ересь.

Неудивительно, что любая достаточно сильная группа жестоко наказывает субъекта таких символических оскорблений. Не имеет значения, что обидчик нанес незначительный физический вред или вообще никакого вреда. Преступник бросил вызов чему-то гораздо более эмоционально насыщенному, нежели то, что обладает мирским качеством; следовательно, реакцией будет не просто усилие по возмещению убытков, а чувство праведного насилия. Отметим аспект *справедливости* этой реакции: именно потому, что групповой ритуал создает чувства групповой морали, групповое наказание ритуальных преступлений имеет эту окраску *морального* гнева. Выражаясь использованным выше языком метафор, любой, кто пытается нанести вред социально-энергетической трансформирующей машине, подвергается опасности удара током высокого напряжения.

Затем мы находим в теории религии объяснения широкого спектра явлений. Она показывает нам, что жизнь включает в себя два совершенно различных типа опытов — такого, в котором индивид помнит о своей зависимости от группы, и такого, в котором он преследует свои собственные практические интересы. Именно из первого типа опыта мы извлекаем и наши общие идеи, и идеалы, и наши моральные (448:) чувства. Теория религии — это также теория ритуалов и символов: ритуалы являются скоординированными действиями собранной вместе группы, которые дают ее членам особую эмоциональную энергию; символы являются идеалами, эмблемами и доктринами, которые представляют групповой опыт. Символы воспринимаются как священные темы, кто пользуется ими, чтобы конституировать свою группу; следовательно, люди, которые разделяют общие символы, ощущают между собою моральные связи, и справедливый гнев против аутсайдеров, которые пренебрегают уважением, испытываемое ими, обязан своим происхождением именно этим символам.

Поэтому мы имеем объяснение того, что же удерживает группу вместе и что удерживает группы порознь. Мы имеем объяснение идей и морали и в позитивном, и в негативном их аспектах. И все это следует предписаниям, изложенным в предыдущей главе, показывающей нерациональные основания рациональности.

Есть много способов, с помощью которых можно применить теорию. Мы уже видели, что данная теория выходит за пределы собственно религии: существуют политические ритуалы и идеи — мы можем назвать их идеологиями, — равно как и религиозные. В ней, конечно, много больше политики, чем ритуальных аспектов собравшихся толп; объяснительная теория политики должна также иметь дело с интересами и ресурсами, с властью и конфликтом. Следующие главы нашей книги коснутся этих проблем, показав, где ритуалы подгоняются к собственности и силе. Другой возможностью было бы поднять тему ритуальных нарушений и вызываемого ими справедливого гнева, которая ведет к теории преступления и наказания. Это тоже оставлено для последующей главы.

А теперь давайте присмотримся поближе к феномену религии. Изучение его с точки зрения его вариаций и исторических изменений, дает нам даже больше свидетельств, что религия — явление социальное. И по странной эволюции оно приводит нас к взгляду на наше современное секуляризованное общество как наполненное ритуалами, которые являются продолжением более старых религий в новом обличье. В основе некоторых из наиболее общих видов повседневной деятельности мы обнаруживаем религию. (449:)

2.4 Тип Бога соответствует типу общества

Если Бог является представителем общества, тогда из этого следует, что различные типы обществ должны иметь различные типы богов. Должно иметься соответствие между типом религии и структурой социальной группы. По мере того, как изменяются общества, равным образом должны изменяться и религии.

Если это происходит, то это именно то, что мы обнаружили, когда сравнивали различные религии.

В племенных обществах существует тесная связь между религией и социальной структурой. Общества охотников и собирателей, подобные тем, которые описывал Дюркгейм в Австралии, представляют собой небольшие группы, редко превосходящие в полном сборе несколько сот человек. Они, в сущности, не имеют ни благосостояния, ни иерархии. Различные кланы, которые составляют племя, равны, как и люди внутри них. Их религия показывает такую же структуру. Соответственно каждому клану, существует священный тотем (черный какаду, белый какаду, кенгуру и т.д.), который дает клану свое имя и является центром его особых обрядов и верований. Все тотемы в религиозном отношении равны. Каждый существует специально для своей группы, ни один не возвышается над другим. Эта горизонтальная множественность сакральных объектов соответствует общей горизонтальной организации племени.

Единственная стратификация, обнаруженная внутри австралийских обществ, — по возрасту и по полу. Старшие мужчины доминируют над женщинами и более молодыми мужчинами. Женщины полностью исключены из религиозных церемоний и им не позволено даже смотреть на сакральные эмблемы. Юноши постепенно допускаются в религиозный культ, но только через прохождение болезненных обрядов инициации.

Когда мы движемся дальше, к племенным обществам, которые практикуют незрелую агрокультуру (садовую культуру), мы обнаруживаем, что и религия, и социальная структура претерпели изменения. Такие общества крупнее по размерам, более оседлы и имеют какое-то накопленное благосостояние. Они обычно структурированы вокруг разработанных систем родства. Существуют сложные правила (450:) относительно того, кто на ком должен жениться; какие браки запрещены; совместно с чьей семьей будут проживать невеста, жених, дети; оплата какими товарами должна производиться между брачующимися семьями. В таких обществах имеется тенденция к повышению роли женщины. Многие из таких племен матрилинеальны (дети наследуют свое имя и свою собственность по материнской линии) или матриликальны (мужья должны жить, по крайней мере, часть времени, в семье жены). Женщины также играют центральную роль в экономике, выполняя большую часть сельскохозяйственной работы, равно как и ремесленной, такой, как ткачество и гончарное производство. Таким образом, именно женщины производят большую часть собственности.

Не должно удивлять, что в этом случае религии таких обществ имеют тенденцию обладать сильно выраженным женским акцентом. Основные культы часто концентрируются на ритуалах плодородия, которые символически уравнивают сексуальное взаимодействие и деторождение с выращиванием и сбором урожая. Женщины занимают важное место в религиозных церемониях. Сакральные доктрины часто касаются мифических женщин, а сакральные эмблемы часто представляют женщин с преувеличенно выраженными грудями и гениталиями. Однако мужчины в таких обществах не являются вполне подчиненными и играют важную роль в политике и военных делах. Эти религии имеют мужские, равно как и женские компоненты. Но это впечатляющая иллюстрация дюркгеймовской теории о том, что типы обществ, в которых женщины играют наиболее видную роль, должны также быть такими, в которых религии в наибольшей степени ориентированы на женщину.

Чем более производительной становится экономика в аграрных обществах, тем большее место занимает в них широкомасштабная социальная организация. Становится возможным совершенное разнообразие и смешение социальных типов. Отдельные группы могут специализироваться на разведении животных, рыбной ловле и торговле; появляются поселения и города; организуются армии. Если мы бросим общий взгляд на эти общества как на целое, мы заметим другой религиозный паттерн. Теперь мы можем увидеть спектр политических организаций от религиозно независимых эгалитарных групп до местных княжеств, военных (451:) коалиций и королевств, объединенных вокруг могущественного трона. Параллельно с этим разнообразием политической организации появляется соответствующий ряд религий.

Вообще говоря, чем больше уровней в политической организации, тем больше иерархии внутри религиозной сферы. Если на вершине имеется многосвязная политическая структура с аристократами и чиновниками, господствующими над более низкими уровнями вплоть до самого нижнего с крестьянами и рабами, вероятно, считается, что и боги организованы в иерархии с полноправными богами и богинями на вершине и младшими духами внизу. Чем более централизована политическая организация, чем больше уровней иерархии располагается ниже всемогущего короля, тем более вероятно, что религия понимается в виде высшего бога, председательствующего над всеми остальными подобно греческому Зевсу, председательствующему на горе Олимп. По мере того, как происходит завоевание одних государств другими, боги государства, потерпевшего поражение, часто инкорпорируются в общий пантеон; они становятся более низкими религиозными силами, подчиненными тому богу, который представляет государство-завоеватель. Такой бог часто представляется небесным воином, всемогущей мужской фигурой, королем королей в небе, отражающим короля королей на земле. Здесь религия не только отражает общество, а действует как часть аппарата господства, служа тому, чтобы представить высший класс особенно могущественным и благоговейно вдохновленным.

Еще одна форма религии появляется с возникновением грамотного космополитического общества. В периоды, подобные античной Римской Империи, или в синхронные ее существованию периоды, в Индии, Китае и Персии зародилась идея о том, что различные имена богов представляют единую трансцендентальную реальность. Пантеоны редуцируются к единому Богу или единому мистическому условию — Христианству, Буддизму, Индуистскому мистицизму, Даосизму, Конфуцианству, Зороастризму, а позже Исламу — все они были названы «мировыми религиями», потому что каждая из них видит в мире в целом единую духовную силу. Каждая провозглашает, что нет ничего, кроме единственного Бога, единственного состояния (452:) Просветления или единственного Пути; все другие боги фальшивы или иллюзорны.

Короче говоря, этот тип религии стремится к тому, чтобы считаться универсальным. Он соответствует рационализованному, грамотному обществу, обладающему такой сильной политической властью, что оно может выносить идею универсального государства, перекрывающего весь известный мир.

Оглядываясь назад, на весь диапазон обществ, от племен охотников и собирателей до великих мировых империй, мы можем увидеть, что тип богов, постигаемых в каждом из них, соответствует размерам и структуре общества. Бог представляет общество не только в общем смысле, но и в деталях. Каждый отдельный тип общества имеет свой собственный тип бога.

Тогда возникает исторический вопрос. Что изменяется первым — религия или общество? Религия служит причиной социального изменения или наоборот? Никто не предпринимал попытки проверить тот или другой способ для всех типов обществ, которые мы обозревали выше. Однако был выдвинут аргумент относительно одного конкретного перехода от одного

типа к другому. Макс Вебер, писавший примерно в то же время, что и Дюркгейм, предположил, что современное капиталистическое индустриальное общество своим возникновением обязано изменениям в сфере религии. В своих ранних работах он атрибутирует его возникновению протестантизма; в других работах он описывает экономическое и политическое развитие современного мира в целом как произрастающее из отдельных форм Христианства и Иудаизма.

Другие социологи перевернули эту каузальную гипотезу. Марксисты утверждают, что идеологии возникают из социальной структуры, которые укрепляют господство правящего класса, и формы собственности, на которой она построена. Третью позицию занимают структуралисты, такие как Клод Леви-Стросс. В соответствии с ними, структура общества и структура религии (или идей и мифов вообще) составляет единое целое. Они не спрашивают, что приходит первым или что служит причиной чего, а вместо этого сосредотачиваются на описании базовых элементов внутри этих структур, из которых и конструируется целое. (453:)

Я не буду заниматься этой проблемой где-либо далее. Ее ответвления составляют один из ключевых вопросов сегодняшней социологии и на всем протяжении социальных и культурологических наук.

2.5 Возникновение индивидуального Я

Социологическая теория религии применялась не только к макроуровневым вопросам структуры общества целом; она также дала толчок немалой части микроанализа. Он относится к сравнительно малым группам и коротких взаимодействий — короче говоря, к ритуалам и символам повседневной жизни.

В свете предшествующей аргументации может показаться странным, что любые микроуровневые ритуалы все еще существуют в широкомасштабном современном обществе. Если Бог представляет общество, тогда, по мере того как общество увеличивается в размерах, Бог становится все величественнее и отдаленнее. Более того, как указывал сам Дюркгейм, по мере того как общества становятся все более сложными, идея Бога должна становиться все более абстрактной. По мере усложнения разделения труда, индивидуальные члены общества обладают все более специализированными жизненными опытами и все сильнее отличаются друг от друга. Следовательно, любой символ, который представляет все общество, должен обладать все менее определенным содержанием. Бог все более отдаленно от того, чтобы постигаться как конкретная эмблема, подобно австралийскому тотему, и даже выходит за пределы постижения в качестве личности, подобной одному из греческих богов или богинь. В огромном мире религий Бог, или Предельная Реальность, провозглашается за пределами всей мировой характеристики и, таким образом, может быть описан только негативно или в абстрактных превосходных степенях — как неограниченное, неопределенное, бесконечное, всеведущее, высшее добро. Становится богохульством рассматривать Бога как просто разновидность сверхчеловека.

В этом развитии существует даже следующая ступень. По мере того как Бог становится достаточно абстрактным, постепенно исчезают все антропоморфические элементы. Дюркгейм утверждает, что в индустриальных обществах (454:) масштаб разделения труда становится настолько велик, что даже самая общая идея Бога имеет тенденцию растаять в воздухе. Она превращается в общую концепцию гуманности. Моральные ограничения религии возростали с каждым переходом к более инклюзивной* концепции Бога. Там, где племенная религия санкционировала моральные действия среди членов племени, но оставляла в качестве аутсайдеров членов других племен, возрастающий масштаб религиозных идеалов с успехом расширял круг людей, по отношению к кому верующий должен поступать морально. Сначала налагается запрет на убийство и воровство только по отношению к членам своей тотемической

группы; постепенно предполагается, что нельзя убивать или грабить кого бы то ни было. С развитием универсальной религии моральные идеи гуманности начинают распространяться от семьи на весь внешний мир.

По мере того как такое происходило, ни одна из мировых религий не существовала полностью в соответствии с тем, что она обещала изначально. Христианство и различные секты внутри него, Ислам и его секты, различные формы буддизма и так далее — каждая из них стала склоняться к тому, чтобы идентифицироваться с отдельными государствами и социальными группами и вдохновлять гонения и войны друг против друга. С возникновением космополитических обществ современности началась реакция против этого морального шовинизма. Просвещенные люди восемнадцатого и девятнадцатого столетий пришли к разрушению веры в любые из отдельно взятых доктрин и символов этих непримиримых религий и к необходимости помещения на их место концепции морали, которая была бы выше всех доктринальных предрассудков. Сама идея супернационального начала исчезать. Но продолжало жить ее фундаментальное содержание. Если базовый символизм религии представляет общество, тогда это содержание можно найти в доктринах, которые фокусируются на доброте или гуманности или на схемах сохранения или улучшения общества. Религия, подталкиваемая к крайнему обобщению или абстракции, обращается в политические идеалы. Таким образом, современные политические доктрины, такие, как кон-

* Охватывающей, включающей в себя — *Прим. перев.* (455:)

серватизм, либерализм или социализм, возникают из упадка религиозной веры. Они также продолжают ее дело в новой форме.

Мы все еще говорим о макроуровне целых обществ и доктринах, которые стремятся служить им. Но по интересному изгибу мысли это развитие религии во все более и более абстрактные формы и, наконец, в политические идеологии имеет своего двойника и на микроуровне. По мере того, как общества становятся все крупнее и все сложнее, индивиды внутри них становятся во все более возрастающей степени отличными друг от друга. В племенном обществе, в котором фактически каждый делает то же самое, что и кто угодно другой, индивидуальные личности имеют тенденцию к схожести между собой. В сложном индустриальном обществе мы близки к прямо противоположному. Каждая индивидуальная личность имеет тенденцию к проживанию в своем собственном специализированном мире. Поэтому те же социальные изменения, которые делают религию абстрактной и удаленной, также делают людей более индивидуалистичными.

2.6 Ритуалы взаимодействия в повседневной жизни

Один из последователей дюркгеймовской школы мышления Эрвин Гоффман довольно искусно связал воедино два этих процесса. Религиозные ритуалы и верования, которые представляют общество в целом, в современном обществе стали настолько общими и удаленными от индивида, что фактически исчезли из повседневной жизни. Церемонии, молитвы, благодарения и тому подобное, которые использовались, чтобы отмечать почти каждый час дня, ушли в прошлое. Их место заняли ритуалы, которые стали настолько обычными, что считаются чем-то само собой разумеющимся. Гоффман называет *их ритуалами взаимодействия*.

Ритуалы взаимодействия имеют место в обычном разговоре. Ритуал часто принимает форму того, что мы обычно считаем вежливостью. Идеал или сакральный объект, который приписывается ей, это индивидуальное Я.

Что это может означать? (456:)

Это означает, во-первых, что *что-то Я* — это не то же самое, что его тело. Тело — это часть физического мира, *Я* — часть социального. Наше имя, наш само-имидж, наше сознание — все они, как уже описывал Дюркгейм, приходят из нашего взаимодействия с другими людьми. Ваше *Я* — это *идея* того, чего вы придерживаетесь, и того, чего другие люди придерживаются относительно вас.

Это означает, что люди при различных типах социальных взаимодействий обретают различные типы самих себя. В соответствии с тем сравнением различных типов обществ и их религий, которое мы только что проделали, мы могли бы провести сравнение различных типов *Я*, которыми обладают люди в этих обществах. Вообще говоря, мы бы обнаружили, что концепция *Я* претерпевает вдоль этого континуума смещения от сильно погруженного в группу до индивидуалистского.

В племенном обществе, например, индивиды воспринимают себя как часть клана. Какими бы особыми умениями или энергией они ни обладали, это атрибутируется внешним силам, таким как магия или власть тотема. Эти духовные силы являются способами представления сильного ощущения социальных влияний, оказывающих на личность давление извне. В более сложных аграрных обществах эти, охватывающие все религиозные силы немного отступили, хотя необычное все еще объясняется вмешательством Бога, Судьбы или какой-то иной духовной силы. В этих обществах равным образом продолжает иметь место сильное социальное давление на каждого индивида. Люди имеют тенденцию быть крайне зависимыми от своих семей и связанными в жесткое социальное ранжирование. Здесь мало уединенности; люди живут в условиях, при которых жизнь каждого открыта непрерывной инспекции со стороны тех, кто его окружает. Неудивительно, что здесь существует лишь ограниченная концепция индивидуального *Я*. От людей ожидают полной лояльности их семьям и их старейшинам. Им предоставляется мало выбора в вопросе о том, с кем они должны вступать в брак или где работать. Законодательная система уделяет личности мало внимания; семья в целом или деревня могут считаться ответственными за преступление одного из своих членов, а такие наказания, как пытки и увечья рассматриваются как вполне приемлемые. Не предполагается (457:) наличия у людей индивидуального мнения, и они жестко принуждаются к конформности господствующим доктринам. До индивидуального сознания нет дела; в расчет берется лишь внешняя конформность к группе.

В таком случае современные урбанистические общества можно рассматривать как необычные для их концепции каждого индивида как обладающего внутренним *Я*. Теперь по закону индивиды несут ответственность за свои собственные действия, и степень вины или невинности становится зависимой от субъективного намерения. Сознательно ли и умышленно ли совершил кто-то такое-то и такое-то действие? Этот критерий показывает и то, что теперь люди воспринимаются имеющими субъективное *Я*, способное к обдумыванию и принятию решения, — концепция, которой не было в более ранних обществах, — и то, что от людей *требуется* действовать в соответствии с таким индивидуально ответственным *Я*. Понятие внутреннего индивидуального *Я* — это не только превалирующий имидж в сегодняшнем мире, а еще и идеал, которым каждый из нас должен обладать по требованиям сегодняшней морали.

Это должно насторожить нас относительно способа, которым сам современный индивидуализм становится разновидностью религиозного культа. Нам не только позволено быть индивидами, от нас *ожидают* этого. Общество не дает нам выбора в этом деле.

Как же тогда продуцируется это чувство индивида, внутреннее сознание? Следует ожидать, что оно продуцируется тем же путем: каким продуцируются любые моральные идеалы, через отдельный вид ритуала. Это ритуал, с которым, как обнаружил Гоффман, мы сталкиваемся в повседневной жизни.

Разговоры сегодня ведутся в значительной степени каузально и информативно. Здесь немного осталось от ригидной церемонии, которая могла бы напомнить нам старомодные ритуалы. Но сама каузальность делает их похожими на ритуалы, запоминающиеся самим индивидом.

Мы постоянно подчеркиваем, что высказываем наше собственное мнение, не выходя из какой-то внешней роли. Очень популярным стилем разговора сегодня являются шутка и ирония; они выступают в качестве определенного способа продемонстрировать, что мы можем поддерживать (458:) обособленность от давлений и социальных организаций вокруг нас. Недовольство и критика, другие очень популярные виды разговорной деятельности, в еще большей степени позволяют нам держать себя независимо. Гоффман описывает, каким образом эти способы вне чьего-то Я могут встраиваться в дружелюбный или недружелюбный контексты, где люди пытаются «набрать очки», подшучивая на чужой счет и превосходя друг друга в иронии. Все это конституирует некую разновидность культа сверх-себя, демонстрируя, что вы можете продуцировать бесконечные напластования внутренней отстраненности от всего, что другие люди могут бросить в вас.

Однако основные формы создающих Я ритуалов — не конкурентные, а кооперативные. Люди сотрудничают в построении самоимиджа друг друга. В разговоре много места занимает то, что можно было бы назвать «белой ложью». Люди преувеличивают, встраивая случаи в свою повседневную жизнь, чтобы быть более возбужденными, чем они реально есть, претендуя на то, чтобы быть остроумнее, или холоднее, или богаче, чем в действительности, изображая своих противников более мрачными красками по сравнению с тем, что есть на самом деле. Собеседники все же выходят из положения с этими преувеличениями. Кажется даже, что они ожидают их. Представляется, что каждый из индивидов молчаливо предоставляет другому право сотворить нечто вроде фальшивого образа его собственного мира в обмен на право поступить подобным же образом, когда придет его черед говорить.

Все это тривиально, поскольку может иметь место в любом конкретном разговоре и вносит свой вклад в поддержание внутреннего себя каждой личностью. Потому что идея самого себя, как и все «сакральные» идеалы, укрепляется извне. Разговор — это серия маленьких ритуалов, в которых поддерживается культ эго. Именно вследствие социального эгоизма каждый индивид зависит от своих друзей, чтобы ценить свое собственное эгоистическое мировоззрение. Как говорит Гоффман, социальное взаимодействие — это круговой процесс, в котором каждый дает другому идеал самого себя и в ответ от других людей получает их собственные идеалы себя.

Гоффман проникает и гораздо дальше в те методы, с помощью которых создаются социальные Я. Он сравнивает (459:) социальную жизнь с театром, в котором имеются передние планы и задние планы. На «передний план» люди помещают идеализированный портрет себя, одетого в чистые одежды, имеющего правильные выражения лица и использующего правильные слова и жесты. На «задней сцене» люди заранее готовят свои роли, а затем расслабляются и восстанавливают свои силы от усилий, затраченных на пребывание на «переднем плане». Существует много различных видов передних и задних планов: политические, профессиональные, коммерческие, социальные. Можно даже говорить о задних планах позади задних планов по мере перемещения к существенно более интимной обстановке. Психотерапия, или чрезвычайно личные разговоры принадлежат сегодня в некотором роде к крайне задним планам, где объектом внимания становятся вещи, которые не подлежат раскрытию на других задних планах.

В таком случае современное Я может стать очень усложненным. Гоффман показывает, что существует большое разнообразие слоев внутри слоев, различных форм социально разделяемых претензий, каждая из которых для своего успешного выполнения требует определенного количества социальных усилий. В одной из своих более поздних метафор он

описывает это в виде ряда фрагментов картины, где другие фрагменты всегда могут быть выложены вокруг тех фрагментов, которые уже существуют.

Естественно, возникает вопрос: существует ли за всеми этими наслоениями конечное Я? Могло бы показаться, что, если продолжить обдирать все эти разнообразные типы игры, мы могли бы добраться до сердцевины индивидуального сознания, до кукольника, который дергает за ниточки всех этих марионеток. Но Гоффман так не думает. Ни один из типов социального Я, которые он описывает, не может быть создан без кооперативного социального взаимодействия. Фактически каждый из нас может обладать всеми этими внутренними наслоениями только благодаря сложному социальному миру, в котором мы сейчас обитаем. *Именно благодаря тому, что мы можем перемещаться среди разнообразия групповых ситуаций, и благодаря тому, что в каждой из этих ситуаций нас поощряют к представлению идеального себя, и возникает этот сложный внутренний комплекс.* (460:)

Короче говоря, мы могли бы предположительно продолжать проходить сквозь бесконечное число внутренних слоев, никогда не достигая центра. Слои добавляются из внешней среды, которая затем отражается в нашем сознании. Каждый новый уровень индивида создается новым способом соотнесения с другими людьми. Пред-социальной жизни не существует. Одинокое индивидуальное Я может войти в существование только вместе со сложными формами социальной жизни.

Этот вывод не должен удивлять. Помимо всего, мы видели, как создается обществом религия, и что индивидуализм — это отличительно современная форма, которую принимает религия. Именно структура современного общества позволяет нам иметь «задний план» уединенности, чего недостает другим обществам и создает возможность идеализации нашего поведения по отношению к каким-то людям, когда мы с ними разговариваем. Идея индивидуального уникального внутреннего я возникает из этих отличительно современных паттернов взаимодействия.

Подобно другим сакральным объектам, создаваемым социальными ритуалами, современное Я — это нечто вроде мифа. Опять же не удивительно, что подоплека любого мифического символа — это одна и та же реальность: общество. Если теперь общество символизирует себя в субъективном Я, то такое происходит потому, что это уже позволяет усложнившееся разделение труда.

2.7 Мир социальных ритуалов

Таким образом, теория социальных ритуалов может быть основана на религии, но она простирается дальше, во все уголки социальной жизни. Это становится ясно, если мы вспомним фундаментальное положение, что социальные группы любого типа базируются не просто на рациональном выборе, а на суб-рациональных чувствах солидарности. Небольшие, изолированные и гомогенные группы оказывают очень сильное давление на индивида, и именно это порождает чувства, выражаемые в религиозных верованиях в вездесущность супернациональных духов. Для тех же индивидов в современном обществе, чей социальный опыт состоит из огромного разнообразия различных столкновений (461:) в широком диапазоне сети знакомств, ритуалы взаимодействия принимают совершенно иную форму. Тем не менее, они остаются ритуалами и продуцируют отличительно современный тип «секуляризованной религии», культ индивидуализма. И все же культ индивидуализма — это не то же самое, что совершенно изолированная, самоуправляемая личность, воображаемая идеей здравого смысла рационального субъекта, совершающего выбор. Как указывает Гоффман, человеку не только дозволено быть индивидом, от него фактически требуют этого. Когда наши социальные взаимодействия принимают такую форму, мы не можем избежать легальной ответственности за возлагаемое на нас доверие. И те же социальные условия продуцируют также экспектацию*,

что мы должны быть само-сознающими, ироничными, обособленными и наделенными всеми остальными чертами современного способа представления себя. Современный идеал небрежного, «холодного», владеющего собой индивида — это не реакция против общества, это та самая форма, в которую отлиты социальные идеалы сегодняшнего дня.

Хотя справедливо также, что даже в сегодняшнем обществе мы не всецело предоставлены непостоянному рынку связей. Мы не всегда сталкиваемся с калейдоскопическим разнообразием различных людей и различных социальных ситуаций. Какие-то из наших опытов — скажем, на протяжении детства или, может быть, внутри тесно сплоченных групп и организаций — в большей степени схожи с теми опытами высокой плотности, которые Дюркгейм описывает в качестве базиса примитивной религии. Современное общество — это скопление всевозможных вещей, и вдоль всего занятого социального рынка располагаются также современные «племена». Как раз в этих местах — в небольших поселениях или в опытах детей, ограниченных пределами одних и тех же домов, школы и соседства, — мы и продолжаем обнаруживать маленькие племенные обряды солидарности. Соответствующие верования могут принимать формы оживления традиционных религий, или они могут быть современными культурами, наподобие атлетических команд или школьных братств. Существуют политические, профес-

* Ожидание (expectation). (462:)

сиональные, равно как и интеллектуальные культуры, которые генерируют сильную эмоциональную приверженность и поддержку символических верований, священных для каждой отдельной группы. Все они действуют очень сильно на современной сцене — столь долго, сколько группе удастся удерживать групповую сплоченность и выполнять свои собственные ритуалы.

Как мы видели, ритуалы представляют собою разновидность социальной технологии, которая может найти разнообразные применения. Эта машина может быть приспособлена к различным обстоятельствам, так что один и тот же механизм может вырабатывать различную продукцию. В одной ситуации — на высоко-плотном конце спектра — мы получим довольно фанатичные и суеверные убеждения примитивных племен. В другой ситуации результатом будет гоффмановский мир иронического индивидуализма. И все же другие напряжения социальных рычагов имеют своим результатом идеологические чувства массовой политики или интенсивность социальных движений. Существуют ритуалы гармонии, равно как и ритуалы конфликта. Иногда люди сознательно манипулируют ритуалами для того, чтобы поддерживать свое господство над другими. В другие времена ритуалы возникают спонтанно, вследствие способа, которым людям пришлось собраться вместе в ситуациях «лицом-к-лицу».

Теория ритуалов может повести нас в долгий путь через разнообразия социальной жизни. В последующих главах я использую их вместе с некоторыми другими неочевидными идеалами социологии. (463:)

Глава 3. Парадоксы власти

Власть представляется нам одним из тех слов, которые имеют очевидное и прямое значение. Кого-то описывают как могущественного политического лидера; такой-то обладает реальной властью в деловом сообществе; некоторые люди столь могущественны, что вы, возможно, не рискнули бы оскорблять их. Институты также описываются как полновластные: кто-то занимает властную позицию секретаря важного союза; тот или другой комитет обладает властью в организации. И, конечно, все официальные позиции несут в себе определенную власть.

Тем не менее, когда мы пытаемся прозондировать подповерхностные слои того, что мы называем властью, все становится менее очевидным. Люди, имеющие репутацию полновластных, не обязательно используют свою власть. Чиновники очень часто бывают ограничены в способах своих действий, что оставляет им не так уж много места для осуществления своей власти. Политические лидеры приобретают дурную славу за то, что раздают обещания выполнения обширных программ, а потом оказываются неспособными выполнить их. Даже те, чья власть кажется наиболее близкой к абсолютной — верхушка администраторов корпораций или главы диктаторских правительств — не всегда достигают своих целей. Промышленный магнат может отдавать приказы своим секретарям, но он не обязательно в состоянии удержать корпорацию от банкротства; и даже самых кровавых из диктаторов иногда свергают путем революции или *переворота*.

Власть над человеческими существами — это отнюдь не то же самое, что власть над неодушевленным миром. Социальное (464:) могущество — это нечто иное, нежели электрическая энергия; вы не можете просто нажать на кнопку и быть уверенным, что после этого зажжется свет.

По мере того как мы изучаем власть, природа ее становится все более неуловимой в сравнении с первым взглядом. Мы можем убедиться в этом, рассматривая случаи, когда она реально работает и когда она перестает работать. Успешное обладание властью — это вовсе не нажимание на кнопки; обладатель ее вовлекается в какие-то очень сложные социальные манипуляции. Индивиды, которым удается быть могущественными и добиваться своего, должны делать это, сообразуясь с законами социальной организации, а не противореча им. Не существует социальных суперменов, непроницаемых для пуль и путешествующих быстрее скорости света. Могущественный индивид — это тот, кто действует в соответствии с природой вещей, кто постигает, какую именно власть он может в данный момент предложить социальной организации.

Те, кто хотят, чтобы в обществе что-то произошло, вовлекаются в осуществление власти. Они пытаются навязать свою волю другим. Они могут обладать официальным правом делать это, если являются избранными должностными лицами, собственниками компаний, учителями в классе или кем-то наподобие этого. Тем не менее, не так легко проводить в жизнь свою политику. Использование власти всегда приводит в движение противодействующие течения. Люди, принадлежащие к рангам ниже верхушки, неосознанно сопротивляются излишне подавляющему осуществлению власти. Они с энтузиазмом следуют за ней, но лишь до той степени, в какой они согласны с тем, что делается. И даже тогда они обычно проявляют несогласие с тем, как делаются дела, или с тем, кому нести мяч. Эти конфликты наиболее очевидны в сфере политики, однако и в любой организации, где некоторые люди осуществляют контроль над другими, имеет место подспудное недовольство тем, как делаются дела.

Одна из самых обычных форм борьбы — экономическая. Она имеет место в любой организации, где люди выполняют работу для того, чтобы жить. Люди не обязательно думают о своей жизни с марксистских позиций — как о части конфликта борьбы рабочего класса против буржуазии, но экономические проблемы всякий раз всплывают вновь и (465:) вновь. Иногда проблема выливается наружу в форме рабочей забастовки. В иные времена это являет собою борьбу индивидов, преследующих свои личные интересы в небольших повседневных проблемах работы. Каждый наемный работник должен постоянно решать, насколько трудна работа, сколько усилий затрачивать на нее, насколько инициативно следует выполнять работу. Насколько усердно нужно подчиняться приказам? Не хуже ли будет, если работать настолько тяжело, насколько это возможно? Соответствует ли оплата затраченным усилиям? Такого рода проблемы всегда неявно присутствуют, и всякий раз, когда работодатель пытается заставить кого-то что-либо выполнить, имеет место неуловимый торг.

Кроме того, такие экономические проблемы являются лишь частью того, вокруг чего ведется борьба. Люди желают и других вещей помимо денег — немного возможности распоряжаться собой, возможности самим оценивать свою работу, размышлений относительно приятности своего рабочего места, единомышленников в числе тех, кто работает вокруг них. Существует много вещей, за которые люди будут бороться всякий раз, когда кто-то пытается заставить их что-то сделать.

Это означает, что попытки применить власть обычно оказываются замешанными в социальные конфликты. В этих конфликтах обычно побеждают люди, обладающие наибольшими социальными ресурсами. Но как раз тот факт, что они побеждают, может не совпадать с тем, чего они намереваются достичь. То же самое применимо и к сфере политики, и к любой более крупной части общества вообще. Получается не столько то, чего кто-либо в частности добивался, сколько результат общей суммы конфликтов.

Один из способов увидеть, что реально происходит, состоит в том, чтобы следовать различным стратегиям, которые могли бы применить лидер, менеджер или чиновник в попытках осуществить власть над своими подчиненными. Здесь у меня нет особого пристрастия к стороне менеджера; это просто удобный способ описания того, что происходит. Такой же анализ кое-что расскажет нам о контрстратегиях, доступных людям, которые сопротивляются применяемой к ним власти. В определенных обстоятельствах некоторые способы руководства работают лучше, чем (466:) другие, но все они обладают скрытыми недостатками и неожиданными последствиями. Первыми я исследую три различных способа попыток осуществления контроля.

3.1 Три стратегии: деньги, сила и солидарность

Самый очевидный способ заставить людей сделать что-то — это заплатить им. Это предполагает, что у вас есть деньги, с которых можно начать. И в предположении, что вы поступите подобным образом, вы теперь можете учредить ваш бизнес, основать ваше правительственное агентство, открыть свою школу или что угодно еще и начать осуществлять власть над людьми от своего имени.

Но хотя деньги и могут быть властью, это не обязательно вполне эффективная власть. Проблема состоит в том, что вы можете платить людям, но это само по себе еще не означает руководить людьми в том, что они будут делать на работе. Предположим, вы платите им в конце каждого месяца. Чек поступает автоматически, независимо от того, хорошо они выполнили свою работу или нет. Это не притянуто за уши: это способ, которым получают оплату большинство государственных служащих в большинстве бюрократических организаций где бы то ни было. Здесь единственный способ контроля со стороны босса состоит в том, чтобы уволить кого-то, кто не работает хорошо, но может оказаться, что сделать это непросто. Если вам придется пройти через переговоры с гражданскими службами или профсоюзными комиссиями и другими организациями, это может занять месяцы или годы, прежде чем будет уволен непродуктивный работник. Так что наличия денег для контроля еще недостаточно.

Тогда очевидный ответ будет состоять в том, чтобы оплачивать гораздо более короткие периоды. Вместо ежемесячных выплат вы могли бы выдавать чеки по оплате еженедельно. Это действительно тот способ, которым производится выплата большинству работников физического труда. Здесь просматривается больше стремления к тому, чтобы связать деньги с точным объемом выполненной работы. Вместо того чтобы выплачивать ежемесячное или ежегодное жалование по принципу оплаты «белых воротничков» (467:) достаточно высокого ранга, можно установить почасовую ставку. Теперь все существенно сужается; люди будут должны появляться, по меньшей мере, на определенное количество часов, чтобы получить

оплату за них. И все же: чем эти люди должны заниматься, кроме того, что смотреть на часы, ожидая, когда наступит время идти домой? Тот факт, что люди присутствуют физически, еще ничего не говорит о том, насколько усердно они работают и сколько производят.

Самый близкий путь контроля над рабочими состоит в том, чтобы прямо связать оплату с тем, что они выпустят. Фабричные рабочие, к примеру, могут получать столько-то центов за каждую часть машины, которую они изготовят. Менеджер должен только сосчитать, сколько частей выпущено за этот день и заплатить рабочим именно за столько, сколько они сделали, не больше и не меньше. К несчастью, здесь имеется ряд недостатков.

Одна из целей, на которую работает вся эта побудительная система, — установление контроля за тем, насколько быстро работают люди. Она не контролирует качество. Вероятно, оно тоже должно бы учитываться, но тогда должна была возникнуть сдельная оплата, связанная с тем, чтобы заставить рабочих замедлиться и выполнять свою работу лучше. Кроме того, использование финансовой побудительной системы становится важным воздействием на тот способ, каким рабочие думают о своей работе. Наиболее важная вещь для менеджера это, очевидно, монетарный (денежный) контроль; он становится наиболее важным также и для рабочего. В глазах менеджера то, чего хотят все рабочие, — это сделать как можно больше денег путем приложения как можно меньшего количества усилий. Основной аттитюд менеджера — поощрить это. За этим начинается конкуренция между менеджером и рабочим за то, сколько оплаты должно быть произведено за то или иное количество выполненной работы.

Рассмотрим, что должен сделать менеджер, чтобы установить сдельную оплату. Он (или она) должен решить, насколько усердной работы разумно ожидать от рабочих и установить соответствующую шкалу оплаты. Если вы платите слишком много за каждую часть работы — скажем, 1 доллар, — тогда рабочие знают, что они должны произвести, скажем, 30 частей в день, чтобы заработать 30 (468:) долларов. Достигнув этого предела, либо того, что они считают хорошим дневным заработком, они замедляют темп и более или менее отдыхают, пока не закончится рабочий день. Поэтому менеджер, который установил сдельную оплату слишком высокой, не получит от рабочих максимального объема работы. С другой стороны, предположим, что сдельная оплата установлена на слишком низком уровне — скажем, 10 центов за единицу. При таком уровне, если даже рабочие будут работать настолько усердно, насколько возможно, выпуская, скажем, сто единиц в день, они все равно заработают лишь 10 долларов. Этого не хватит на жизнь, и рабочий скорее пойдет на забастовку или уйдет, чтобы искать лучше оплачиваемой работы.

Очевидно, наилучший уровень оплаты для получения для получения максимума продукции лежит где-то посередине. Но как его точно найти — это проблема. Менеджер может пойти и понаблюдать, какой работы можно разумно ожидать от хороших рабочих, чтобы они работали, не убивая себя, в течение напряженного рабочего дня. Тогда менеджмент будет знать, сколько можно ожидать изготовления единиц и соответственно приспособить шкалу оплаты. Беда в том, что рабочие тоже знают, что происходит, и когда менеджер хронометрирует одного из них для установления оплаты, рабочий готовится к этому. За этим следует небольшое драматическое представление — рабочий, старающийся выглядеть усердно работающим и, насколько это возможно, всецело поглощенным ею, и все же выполняющий свою работу настолько медленно, насколько это возможно. Чем меньший объем работы, по мнению босса, является разумной нормой, тем легче рабочим достичь квоты без того, чтобы заставляя себя работать слишком тяжело. Эта ситуация является парадигмой для всех разнообразных способов, какими менеджер мог бы попытаться контролировать рабочих с помощью денежных побуждений. Рабочие всегда стараются манипулировать ситуацией, чтобы выполнить работы настолько мало, насколько высока оплата, в то время как менеджеры действуют в обратном направлении. Вообще говоря, результатом является что-то

типа ничьей. Обычно, чем более сложна работа, тем больше шансов на то, что рабочие выиграют это сражение. Сдельная оплата полностью работает только тогда, когда имеется (469:) множество простых, дискретных операций, которые легко поддаются учету. Если работа очень сложная, эта система неприменима. Это тот случай, когда один работник, что бы он ни делал, зависит от кого-то еще, например, когда идет сборка сложной части оборудования, в которой один рабочий не может начать свою работу до тех пор, пока другие люди не закончили свою. Если другие еще не завершили свой сегмент операции, любой рабочий может ходить вокруг них, ничего не делая, без всякой вины со своей стороны. Такого рода ситуации весьма обычны, и, значит, реально плотный денежный контроль типа сдельной оплаты встречается не столь часто по сравнению с другими, более свободными формами, как оплата за явное количество часов присутствия на работе.

Выходит, деньги — это не такой уж могущественный способ контроля, как можно было бы подумать. Поэтому почему бы не попытаться как-то еще? Если бы были дозволены все методы, люди могли бы довольно хладнокровно решить, что более эффективной санкцией была бы сила. Деньги — это нечто такое, за что можно более или менее поторговаться. Но никто не хочет быть физически пораненным, и не существует более крайней санкции, нежели угроза смерти. В сравнении с этим все остальное бледнеет: кто посмеет ослушаться приказа, если за это он может лишиться жизни?

Исторически стратегия подавления, конечно, достаточно популярна. В традиционных аграрных обществах сила определенно использовалась очень широко. Именно этим способом рыцари удерживали в повиновении крестьян и всех остальных. В наше время мы наблюдали спектакли нацистских и русских трудовых лагерей. В нашей собственной тюремной системе узников иногда заставляют работать, дробя каменные глыбы или штампуя автомобильные номера.

Однако опыт этих высоко коерсивных* организаций показывает одну важную вещь: подневольный труд очень не эффективен. Нацисты и русские пытались запускать заводы и шахты с их рабским трудом, но даже крайне жесто-

* От *coercive* — принудительный; существует и другая русскоязычная калька — «коэрцитивный», но она используется исключительно в физике. — *Прим. перев.*

470

кое подавление не могло заставить их производить на уровне, хотя бы частично достигающем того уровня, на котором производит свободный труд. До-современное сельское хозяйство, где также широко применялось насилие, никогда не достигало чего-нибудь близкого к уровню производительности современного фермерства, особенно на тех фермах, которые принадлежат тем, кто на них работает.

Почему должно происходить так? Нетрудно увидеть, что сила имеет определенные недостатки. Никому не нравится, когда его подавляют, и любой, кто попытается принудить других делать что-то, рискует получить озлобленную рабочую силу. Б.Ф.Скиннер, психолог-бихевиорист, попытался показать это экспериментально — на голубях, чтобы исключить людей. Вы можете научить голубя делать много разных вещей — от клевания рычага до игры в пинг-понг, вознаграждая его зернами. Но даже при решении простых задач наказание гораздо менее эффективно, чем вознаграждение. Вы могли бы подумать, что голубь будет особо стремиться выучиться нажимать на рычаг, если испытывает удар электрическим током по лапкам. Но это явно не занимает первого места среди голубиных приоритетов. Первое, что он попытается сделать, это выскочить из клетки, он бешено бежит кругами, напуганный и разгневанный (хотя сам Скиннер не рассказывает об этом такими словами), и даже пытается

поранить руку психолога. После многих экспериментов Скиннер провозгласил принцип, что вознаграждение является гораздо более эффективным средством добиться согласия, нежели наказание.

Во всяком случае, в этом отношении люди не так уж и отличаются от скиннеровских голубей. Когда кто-то принуждает их, они первым делом расстраиваются. Они пытаются драться, если могут, а если не могут, то избавиться как-то по-другому. Пойти навстречу тому, что требуют, и согласиться — это последнее прибежище, чтобы избежать угрозы наказания, но даже тогда они работают не очень охотно. В этом случае любой босс, который пытается подавлять свою рабочую силу, должен быть готов к тому, чтобы затратить немало усилий и дополнительных рабочих ресурсов, чтобы удержать работников от побега или бунта. Лагерь рабского труда отличается от регулярной фабрики, в частности, тем, что имеет огромное количество охранни-

471

ков, которые должны следить, не отлынивает ли кто-нибудь вообще от работы.

Даже если силы безопасности хорошо организованы, их работа оказывается не очень эффективной как количественно, так и качественно. Когда подавляемые работники не могут взбунтоваться или бежать, они, тем не менее, будут стремиться к тому, чтобы в определенной степени замкнуться в себе. Они становятся апатичными, правильно выполняя ожидаемые от них движения, но не давая ничего сверх едва достаточного минимума. Работа, которая требует какого-либо размышления, какой-либо инициативы, не может выполняться с помощью принудительного труда. Вы не можете заставить кого-то стать искусным часовщиком, стоя над ним с кнутом, потому что он тут же испортит работу. Даже выполняя такую довольно простую работу, как дробление камней в каменоломне, рабочие, которые существенно апатичны, могут работать очень медленно и небрежно. Даже самое простое дело, такое, как работа лопатой, может выполняться неуклюже.

Вы могли бы задать вопрос — а почему бы охране просто не бить людей, наказывая их, если они не делают свою работу усерднее и лучше. Несомненно, это как раз то, что пытались делать охранники рабских трудовых лагерей. Но эта тактика представляет собою что-то вроде самопоражения. Чем больше бьют узников, тем менее они способны работать усердно. Парадоксально, но сила имеет тенденцию сама себя ограничивать. Узник, которого бьют, часто не только слабее физически, но и тупее умственно. Если ваша стратегия управления состоит в том, чтобы бить людей до неузнаваемости, вы получите от них неузнаваемую работу. Если вы избиваете работника до смерти, вы вообще теряете работника.

Как ни странно, насилие действует наилучшим образом в качестве побудительного мотива в тех случаях, когда оно меньше всего используется реально. Насилие не только имеет тенденцию делать людей менее способными к работе, но и отнимает время у работы. Если вы все свое время тратите на то, чтобы избивать работников, вы не выполняете никакой работы. Режимам, сосредоточенным на наказаниях, приходится надеяться, что простая угроза насилия терроризирует людей, заставляя их работать усерднее. Как толь-

472

ко начинается регулярное применение санкций, производство быстро катится вниз.

Один из аспектов этого возникает в нашей жизни, которая, как мы надеемся, далеко ушла от надзирателей за крестьянами и рабовладельцев традиционных обществ или концентрационных лагерей Второй мировой войны. Родители имеют альтернативу таких же санкций, осуществляя контроль над своими маленькими детьми. Эквивалент денежного

вознаграждения состоит в том, чтобы дать им конфету, или игрушки, или что-то еще, что они любят. Эквивалент принуждения — порка. Эффекты и того и другого в рамках семьи — те же, что и на фабрике и в тюрьме, как мы только что обсуждали. Если вы контролируете своих детей с помощью конфет, вы скоро обнаружите, что они зафиксированы на конфетах: они не будут ничего делать, пока не получат ожидаемого вознаграждения. Аналогично, если вы пытаетесь управлять с помощью порки, вы скоро обнаружите, что это действует лишь в ограниченной степени. Ребенок, который получает порку лишь раз, получает от нее гораздо больше впечатления, чем тот, которого порют шесть раз на дню. Фактически спустя некоторое время наказание становится почти полностью неэффективным. В любом случае принуждение лучше работает там, где нужно заставить людей *не* делать чего-то, нежели акцент на мотивацию положительного свершения. Вы не можете пороть ваших детей для того, чтобы они получали больше хороших отметок в школе. Если вы что и получите что взамен этого, так это устойчиво озлобленного ребенка, который перестает понимать то, что вы ему или ей говорите.

Как раз в этом и состоит, в конечном счете, ирония принуждения. Принуждение отчетливо отупляет людей. Этот паттерн обнаруживается не только в обращении с детьми, он наблюдается вновь и вновь в самых различных контекстах. Люди, находящиеся на самом дне коерсивной социальной системы, уже получили репутацию глупых. Русские аристократы были твердо убеждены, что крепостные, на чьи спины они опускали свой хлыст, были глупыми людьми, имевшими разума не больше, чем животные. Американские рабовладельцы девятнадцатого века думали то же самое относительно своих черных рабов. Однако то же самое наблюдалось и в нацистских, и русских трудовых лагерях. (473:)

Люди, попавшие в них, могли быть вполне обычными, может быть, даже выше среднего уровня; после того как они подвергались постоянному жестокому обращению, они начинали действовать как бессловесные твари.

Результатом коерсивной ситуации всегда будет отупение. Если нет возможности бунта или бегства, узники постепенно утрачивают всякое чувство инициативы. Принуждаемые к выполнению бессмысленной работы на кого-то другого, они покоряются настолько механически, насколько это возможно. Насколько могут, они замыкаются в своей скорлупе. Снаружи это действительно выглядит отупением. Но это тупость только с точки зрения рабовладельца, которому хотелось бы, чтобы они проявляли побольше инициативы для его или ее выгоды. И это, в конечном счете, тупость не их, а самого рабовладельца.

Все это, в конечном счете, приводит к пониманию того, что и вознаграждение, и принуждение — это довольно слабые формы управления. Если вы хотите, чтобы что-то делалось основательно хорошо, вам нужно найти такой способ, чтобы люди сами захотели этого. Это не означает, что награды и наказания не играют какой-то важной роли в социальном мире. Очевидно, плата — это очень важно для того, чтобы заполучить людей для выполнения работы, и угроза наказания оказывает влияние на удержание их от того, чтобы украсть содержимое кассы. Но если вы хотите выйти за пределы этого минимума, вам нужно каким-то способом втянуть людей в идентификацию с организацией и работой. Вам нужно заставить их почувствовать, что работа — это часть их собственной личности, что они вносят свой вклад во что-то такое, во что они верят, или в дело группы, к которой они принадлежат.

Такое не представляется невозможным. В самом деле, мы уже видели один из способов, каким это может произойти. Это может случиться через социальные ритуалы, которые создают чувство групповой идентичности и продуцируют идеалы, которые почитают люди. Но как вы заставите действовать социальные ритуалы в мире труда?

Один из путей состоит в том, чтобы использовать организацию, которая уже высоко ритуализирована. К примеру, церковь контролирует своих собственных членов, потому что они индоктринированы в цели церкви своим посто-

474

янным участием в ее церемониях. Священники выполняют свои обязанности, потому что они стоят над всеми ритуальными обязанностями, и эти ритуалы воздействуют на их собственную веру, равно как и на веру других. Такой тип организационной солидарности может иногда работать и на другие цели. Скажем, монахи могут проводить свое свободное время, изготавливая ликеры в винных погребах. И действительно, в Средние века христианские монастыри (и буддийские монастыри в Азии) производили много полезной работы — и сельскохозяйственной, и ремесленной.

Высоко традиционализированные организации, такие, как церковь, уже не играют такой важной роли в экономике, но организации могут создавать свои собственные ритуалы. В армии, например, офицерский корпус извлекает изрядную долю своей мотивации из ритуалов, через которые они проходят, будучи кадетами, и в порядке военных протоколов. Организации, подобные корпусу морской пехоты, много внимания уделяют своему героическому имиджу и постоянно проводят различные ритуальные тесты на *machismo*, чтобы напоминать морским пехотинцам, какими их хотят видеть. Сегодняшние высоко-статусные профессии делают сильный упор на ритуалы в социализации новых членов. Например, студенты-медики в медицинских школах фактически изучают не так уж и много медицины, зато они постоянно подвергаются воздействию многословных церемониальных разговоров, которое в их собственном сознании отделяет их от обычных человеческих существ и заставляет их возлагать на себя особые статусные требования и манеры докторского поведения. Благодаря такой само-индоктринации, врач очень сильно идентифицируется со своей профессией, и внешние формы контроля над медицинскими практиками становятся фактически несущественными.

Ритуалы равным образом важны и для создания достаточной солидарности, позволяющей поддерживать функционирование организации и на менее привилегированном профессиональном уровне. Офисные работники, как мы видели, реально не очень плотно контролируются с помощью системы оплаты, но они, тем не менее, стремятся вы-

* Здесь — мужество. — *Прим. Перев. (475:)*

поднять свою работу — по крайней мере, на определенном уровне компетенции. Это происходит в значительной степени благодаря тому, что они принимают участие в ряде небольших, но значительных социальных ритуалов, которые заставляют их идентифицировать себя со своей профессией и другими людьми организации. Как показал нам Гоффман, в повседневной жизни существует бесчисленное множество ритуалов, в которых люди воссоздают частичный имидж себя и заставляют других людей воспринимать этот имидж.

Наиболее важными из этих ритуалов для целей идентификации людей со своими профессиями являются ситуации, в которых они должны принимать на себя публичную ответственность за действия в качестве части организации. Это происходит всякий раз, когда кто-то должен взять на себя роль объясняющего политику организации посторонним или когда кто-то отдает приказы своим подчиненным. В обоих случаях, принимая ответственность за изложение позиций организации другим людям, этот человек ощущает себя частью организации.

Основной способ заставить людей желать своей работы состоит в том, чтобы наделить их какой-то ответственностью. Эта ответственность должна носить главным образом социальный характер: поставьте их в такое положение, чтобы они должны были как-то воздействовать на других во имя организации. Это создает лояльность и делает менее важными монетарный и коерсивный контроль.

Если этот способ так хорошо работает, почему же он не используется чаще? Почему не каждый социализируется с помощью этой мягкой формы ритуального контроля? Дело в том, что она имеет свои отрицательные стороны. Во-первых, ритуалы требуют определенного количества времени и усилий, и сами они не обязательно имеют прямую продуктивность. Другой недостаток состоит в том, что поскольку наиболее эффективные ритуалы — это те, в которых кто-то наделяется долей организационной власти, то чем больше ритуалов вы используете, тем больше власти вы отдаете. Если бы каждый в организации получил определенную ответственность за отдавание приказов или публичные заявления о политике, слишком мало власти останется у руководителя. (476:)

Поэтому существует неизбежное ограничение в применении ритуалов как формы контроля. За исключением определенных моментов, они отвлекают от выполнения работы и скорее ослабляют, нежели укрепляет централизованный контроль. По этим причинам большинство организаций используют ритуальный контроль весьма умеренно и только по некоторым позициям — больше, чем другие формы контроля. Уровни «белых воротничков» и особенно их высшие ранги гораздо более ритуализированы, чем более низкие уровни, связанные с выполнением ручной работы. Для последних большинство организаций в основном опираются на монетарные формы контроля. При всех их недостатках они оказываются дешевле, нежели попытки ритуализировать организацию в целом.

3.2 Важность само собой разумеющегося

Выглядит правдоподобным, что ни одна из трех форм контроля не может быть принята без серьезных ограничений. Мы не говорим, что не существует такой вещи, как власть. Но власть — это дело степени, она никогда не бывает абсолютной. Некоторым людям удастся приобрести больше власти, чем другим, но они должны для этого действовать довольно уточненными методами. Наиболее эффективные виды контроля — это те, которые действуют косвенно. Самый очевидный вид власти — это прямой, жесткий контроль, осуществляемый с помощью одной только силы, но он также и наименее эффективен, чтобы заставить людей что-то сделать. Монетарная власть тоже более видимая, чем реальная. Ритуальная власть работает более точно, поскольку она скрытая, хотя по самой своей природе ею довольно трудно манипулировать. Использование ритуалов обычно подразумевает необходимость фактически отдавать прямую власть в обмен на более полное согласие.

Главный способ, с помощью которого организованный политик может осуществлять власть над тем, что делают другие люди, состоит в том, чтобы воздействовать на то, что они считают само собой разумеющимся. Это возможно главным образом по тем причинам, которые мы уже рассматривали при объяснении ограниченности человеческой рациональности. Суть в том, что любое прини-

477

маемое кем-либо сознательное решение, опирается на неосознанные предпосылки. Более того, «под поверхностью» постоянно присутствует нечто само собой разумеющееся. Именно этим ограничено человеческое познание. На этом ограничении и играет умный соискатель власти.

Попытайтесь когда-нибудь проделать такой эксперимент. Когда вы разговариваете с кем-то, заставьте его объяснить все, что не является вполне ясным. Вы обнаружите в результате ряд непрерывных прерываний:

А: Привет, как поживаешь?

В: Что ты имеешь в виду, когда говоришь «как»?

А: Ты же знаешь. Что с тобой происходит?

В: Что ты имеешь в виду под «происходит»?

А: Происходит, как ты знаешь, — это как идут дела?

В: Извини, не мог бы ты объяснить, что ты подразумеваешь под «как»?

А: Что ты имеешь в виду под тем, что я подразумеваю? Ты хочешь со мной говорить или нет?

Очевидно, что такой способ задавать вопросы мог бы продолжаться бесконечно, во всяком случае, до тех пор, пока слушатель не потеряет терпение и не врежет вам по зубам. Но он иллюстрирует два важных пункта. Во-первых, в вопросе может быть названо фактически все. Мы можем ладить с другими не потому, что все четко произносится, а потому, что готовы принять большинство вещей, которые они говорят, без объяснения. Гарольд Гарфинкель, который реально проводил такого рода эксперимент, указывает, что существует неопределенный регресс предположений, который входит в любой акт коммуникации. Более того, некоторые выражения просто необъяснимы. Слова типа «ты», или «здесь», или «теперь» Гарфинкель называет «указательными». Вы должны уже знать, что это означает; это может быть объяснено.

«Что ты имеешь в виду под "ты"?»

«Я имею в виду *тебя, тебя!*» — Это сопровождается тыканьем пальцем.

Второй момент заключается в том, что люди сходят с ума, когда на них давят с требованием объяснить вещи, которые они считают само собой разумеющимися. Это проис-

478

ходит вследствие того, что они очень быстро убеждаются, что объяснения будут продолжаться бесконечно, и вопросы никогда не получают ответа. Если бы вы реально требовали полного объяснения всего, что слышите, вы могли бы прервать разговор с самого первого предложения. Однако реальное значение этого для социологического понимания способа, с помощью которого мир соединен воедино, — вовсе не гнев. Это тот факт, что люди стараются избегать такого рода ситуаций. Они молчаливо подразумевают, что мы должны избегать этих бесконечных вопрошаний. Иногда маленькие дети начинают спрашивать свои бесконечные «почему», но взрослые прерывают это.

В конечном счете, любая социальная организация работает потому, что люди избегают такого расспрашивания большую часть своего времени. Это не означает, что люди не вникают в аргументы или не спорят время от времени о том, что должно быть сделано. Однако вступление в спор уже подразумевает, что имеется обширная сфера для достижения согласия. Менеджер офиса может спорить с клерком о том, как составить какое-то деловое письмо, но они в любом случае более или менее знают, о чем они спорят. Они не втягиваются в гарфинкелевскую серию вопросов о том, что они имеют в виду под тем или иным словом. Вы можете быстро превратить организацию в ничто, если пойдете по этому пути; на нем не будет коммуникации вообще, даже по поводу предмета разногласий.

Социальная организация возможна благодаря тому, что люди поддерживают определенный уровень сосредоточенности. Если они сосредоточиваются на одной вещи, даже если только

для того, чтобы не согласиться с кем-то по поводу ее, они многие вещи считают само собой разумеющимися, укрепляя тем самым свою социальную реальность. Поэтому даже когда босс обсуждает с клерком, какие инструкции предлагается выполнить для рассмотрения деловых писем, одновременно подразумевается, что босс имеет право отдавать приказы, и клерк обычно повинуетс я им. Даже если босс проигрывает этот частный спор, он или она одерживает молчаливую победу, которая подтверждает его или ее власть в целом.

Именно в этом молчаливом измерении власть осуществляется наиболее эффективно, например, умным политикам (479:) удается завоевывать позиции из самого процесса уступки чего-то менее важного.

Равным образом власть иногда действует, используя простую тактику опровержения любой претензии к ней. Участники политических дебатов достаточно хорошо знают это. Если вы хотите разбить аргументацию ваших оппонентов, вы прерываете их до того, как они доберутся до своего главного пункта, и просите их определить свои понятия. Это легко может повести к той стороне дебатов, где до главного аргумента никогда не добраться. Каждая дискуссия о том, что именно обозначает что-то, несет в себе потенциал для бесконечной регрессии вопросов. Связанная с этим тактика состоит в том, чтобы задавать вопросы на уровне, отличном от того, о чем желает говорить ваш оппонент. Они хотят говорить о своем предложении или обнародовать свои обиды; вы спрашиваете о точке зрения оратора, должны ли быть представлены другие люди для того, чтобы иметь полное мнение по данному вопросу, искренна ли их мотивация и так далее.

Разговор, если опять использовать гоффмановскую аналогию, подобен ряду фрагментов картины. Вы можете говорить о том, что имеется внутри картины, или говорить о раме. Картина — это оригинальная тема, что бы ни хотел об этом сказать кто-либо; рама — это факт, о котором говорят в частности. Если вы помещаете в фокус вашего разговора раму, вы создаете раму вокруг рамы. Гоффман указывал много способов, с помощью которых кто-то может удерживаться на этом, помещая бесконечные рамы вокруг рам, созданных вокруг рам. Часть осуществления власти — это как раз дело контроля за тем, в пределах какой рамы вы позволяете действовать другим людям.

Эти молчаливые аспекты, взятые вместе, играют на фундаментальном ограничении способностей человека к познанию: невозможно думать на всех уровнях сразу. Сосредоточение на одной вещи с необходимостью вытесняет другие в область само собой разумеющегося. Умный босс или политик старается извлечь выгоды из этой ситуации, пытаясь убедиться, что те вещи, о которых он или она заботятся, становятся частью той сферы, которую другие считают само собой разумеющейся.

Но и эта стратегия имеет свои ограничения. Обладающие контролем, равно как и те, кто подвергается (480:) контролю — рабочие или избиратели — подвержены одним и тем же познавательным ограничениям. Босс должен играть по слуху; не существует абсолютно оптимального способа осуществлять даже эти косвенные методы контроля. До определенной степени в эти сети попадает каждый.

3.3 Оптимизация против удовлетворительности

Возьмем проблему того, как запустить завод или магазин или как поддерживать гладкую работу по обработке документов в офисе. Представьте, что вы менеджер. Вы хотите, чтобы все работало насколько возможно хорошо. Ваша цель состоит в том, чтобы достичь оптимального уровня эффективности.

Тогда возникает вопрос: какой уровень можно считать оптимальным? Вы не можете просто сказать — выполняй столько работы, сколько возможно. Существуют другие соображения. Не должна ли работа иметь высокое качество? Здесь уже есть определенная дилемма. Как упоминалось выше, чем быстрее вы заставляете людей работать, тем ниже будет качество того, что они делают. И все же вы должны достичь какой-то точки, за которой вы не пожелаете жертвовать скоростью ради качества. Куда же вы поместите эту точку?

И это не единственная проблема, которую вы должны рассчитать. Конечно, есть вопрос стоимости. Каждый хотел бы удержать стоимость низкой и избежать убытков. Но насколько важной является стоимость в сравнении со всем остальным? Желаете вы немного повысить стоимость, для того чтобы делать вещи настолько быстро, насколько это возможно? С другой стороны, вы имеете приверженность к определенному уровню качества. Насколько вы позволите подняться стоимости, чтобы поддержать качество? Насколько стоящим будет пожертвовать качеством, для того чтобы удержать на низком уровне стоимость?

Если этого недостаточно, есть еще о чем беспокоиться. Как насчет безопасности ваших работников? Стараетесь ли вы максимизировать ее, не заботясь о том, насколько это замедляет выпуск продукции, или насколько дорогим это окажется? Как насчет эффектов вашего воздействия на (481:) внешнее окружение (например, если вы запускаете завод, который всю копит или должен избавляться от производственных отходов)? Как много веса придаете вы этому в сравнении со всеми другими факторами, которые мы рассматривали?

Помимо всех этих чисто технических условий, вы должны держать в уме, что те, кто будет выполнять ваши планы, — это человеческие существа. Вы можете установить определенный уровень работы, рассчитывая скорость, стоимость, качество, сырье и все остальное, но остается еще вопрос, можете ли вы реально заставить работников выполнять ее. Если вы давите на них слишком тяжело, они могут забастовать, уйти или просто потерпеть неудачу в выполнении ее. Вы должны позаботиться обо всем разнообразии побудительных систем, которые я обсуждал, и принять во внимание каждую из них как еще один источник дополнительной стоимости, равно как и поглотитель вашего времени и усилий. Контроль с помощью денежного жалования — это очевидные затраты, и было бы эффективным удерживать его на настолько низком уровне, насколько возможно. Но сделать это не так легко, и монетарный контроль реально не очень эффективен в создании какого-либо способа согласия. С другой стороны принуждение имеет очевидные недостатки, а контроль с помощью ритуалов требует много времени и его нелегко успешно завершить. Тогда рабочая сила станет еще одним кругом проблем, переплетающихся с другими.

Быть менеджером — это означает получить изрядную порцию головной боли. Вам нужно беспокоиться обо всех этих вещах, и предполагается, что вы будете эффективны и выполните их все наилучшим образом. Как вам достичь максимальной эффективности? Ответ, к которому пришла организационная теория, прост: *в ситуации большой сложности не существует такой вещи, как чисто оптимальное решение.*

Что это означает? Это означает, что вы попали в сеть переплетающихся проблем. Если вы попытаетесь оптимизировать одну вещь, вам придется жертвовать чем-то другим. Кроме того, эти процессы включают в себя неопределенности, которые вы просто не сможете заранее контролировать. Как вы собираетесь, к примеру, спланировать загруженность организации (482:) работой? Вы могли бы прямо сейчас заставить завод выпускать продукции столько, сколько возможно, но на следующей неделе может случиться так, что сократятся ваши запасы сырья или не поступит вовремя горючее. Или может сократиться спрос, и вы не сможете продать того, что имеете. Не лучше ли было бы снизить темп, смириться и постараться поддержать ровный баланс входящих и выходящих потоков. Конечно, было бы хорошо сделать это, если бы только вы знали совершенно точно, какими станут в будущем требования

и поставки. Если вы угадаете неверно — будь то в направлении недооценки или переоценки, — вы окажетесь неэффективны. Проблемы такого рода возникают в любой ситуации, где приходится иметь дело с большим числом непредвиденных случайностей. Если вам нужно смонтировать много частей, продавать много продуктов, координировать действия многих различных работников, непрерывно будет существовать проблема выбора, как подогнать эти вещи друг к другу. И не будет простого плана, который позаботился бы обо всех этих случайностях. Когда связываются воедино разные вещи, любое неожиданное пиковое положение в одной области потянет за собою всю цепочку.

Конечно, это не означает, что запустить организацию невозможно. Очевидно, что люди делают это ежедневно и с большой долей успеха. Хотя это невозможно сделать с помощью плана, который максимизирует все аспекты продуктивности и которому затем следуют буквально. Фактически единственный способ, с помощью которого вы можете запустить сложную организацию, состоит в том, чтобы перестать полагаться на оптимизирующую стратегию. Выражаясь словами нобелевского лауреата Герберта Саймона, вы не *максимизируете*, а *удовлетворяете*.

Что это значит? Вместо того чтобы стараться добиться максимального уровня продуктивности, самой низшей стоимости из возможных, самого высокого, насколько это возможно, качества, наилучшего из возможных показателя безопасности, и так далее, вы устанавливаете иной критерий. Вы устанавливаете *удовлетворительный* уровень для каждого из объектов, ниже которого уровень представляется вам нежелательным. Коль скоро вещи соответствуют этому удовлетворительному уровню, вы допускаете их. Другими словами, вы не стараетесь получить максимально (483:) возможный результат, а вместо этого устанавливаете определенную цель, которой стараетесь достичь. Вы делаете то же самое в отношении уровней качества, трудовых отношений, безопасности и всего остального. Как вы узнаете, каким должен быть удовлетворительный уровень? Главным образом методом проб и ошибок, из опыта.

Коль скоро вы имеете эти удовлетворительные уровни, вы теперь свободны для того, чтобы уделить свое внимание чему бы то ни было, что представляется вам наиболее важным. Вы должны поддерживать контроль, чтобы убедиться в достижении удовлетворительного уровня во всех сферах. Когда что-то одно падает ниже этого уровня, вы работаете именно над тем, чтобы выправить здесь положение. Менеджер подобен среднему *line-backer**, затыкающему бреши в оборонительной линии, где бы они ни возникали.

Эта стратегия *удовлетворения и ликвидации аварий* — самый рациональный способ, чтобы справиться с ситуацией сложности и неопределенности. Добиваться при таких обстоятельствах чисто вымышленного уровня абсолютной эффективности — не более, а менее рационально. Просто сложность организации больше, чем человеческие способности к обработке информации. Ограниченность человеческого познания не позволяет социальному миру работать подобно машине. Взамен этого мы должны приспособливаться к этой ограниченности, следуя более оборонительной стратегии, которая позволяет многим вещам частично выходить из-под контроля в обмен на то, чтобы по большей части удерживать их в рамках приемлемого контроля.

Поскольку мы живем в эпоху высоко продвинутых технологий, мы могли бы подумать об одном очевидном возражении. Кто-то мог бы сказать, что, возможно, эта проблема существует для менеджеров в сфере чисто человеческих отношений. Но почему бы не предоставить ее разрешение компьютерам? Компьютеры обладают гораздо большими способностями к обработке информации, нежели люди, и должны быть способны просчитывать сложные отношения, даже если мы не можем этого.

Это интересное возражение, потому что оно заставляет нас исследовать природу рациональности вообще, а не толь-

* Полузащитнику — *Прим. перев.* (484:)

ко для человеческих существ. Ответ будет таков: компьютеры реально не меняют ничего фундаментального в принятии решений в ситуациях большой сложности. В чем компьютеры хороши, так это в очень рутинных и предсказуемых операциях. Они, например, оказывают огромную помощь в ускорении резервирования авиалиний, распечатке банковских документов — как раз потому, что это рутинные и несложные операции. Может иметься необходимость в комбинировании огромных объемов информации и координировании многих разнообразных мест, и электронная техника может сэкономить значительную долю человеческих сил в решении такого рода задач. Но в области сложного планирования взаимодействующих процессов компьютеры не могут действовать лучше людей.

Проблема не в том, что компьютеры не могут справляться с большими объемами информации. Как раз наоборот. Компьютер в состоянии не только принять большое количество информации, но и выдавать огромное количество решений. Когда мы хотим простого ответа, компьютер все равно выдает нам очень сложный. Рассмотрим компьютер, запрограммированный на игру в шахматы. Предположительно компьютер должен бы делать это гораздо лучше человеческих существ. Помимо прочего, он может просчитать гораздо быстрее, что может произойти, если вы возьмете коня своим ферзем, слоном, пешкой и т.д., а затем ваш противник сходит своей ладьей и т.д.

Но в этом и состоит трудность. Вы можете без труда запрограммировать компьютер рассчитать все возможные ходы, которые последуют после каждого из ваших возможных ходов. Предположим, что вы располагаете 12 возможными ходами, и ваш противник имеет 12 возможных вариантов ответов на ваш ход. Это составляет 144 возможных комбинации на каждое изменение хода. Если вы сделаете в будущем всего лишь три хода, вы получите 12^6 возможных комбинаций (2985984), и это — только царапина на поверхности. Если вы хотите, чтобы компьютер рассчитал целую игру, это займет невероятно много времени, гораздо больше, чем вы проживете.

Поэтому когда вы программируете шахматный компьютер, вы встраиваете в программу одно из ограничений, которыми уже обладают человеческие существа. Для нас просто (485:) бесполезно делать компьютер, полностью использующий все свои вычислительные возможности, поэтому мы позволяем ему лишь рассчитывать последствия любого хода, скажем, на дюжину будущих обменов. Позволить ему дальнейшее — значит, завалить себя информацией в большем объеме, чем мы в состоянии справиться.

Такой тип ограничений делает компьютер в действительности более хорошим игроком. Но даже в таком виде компьютер фактически не очень хорош для игры в шахматы. У людей, играющих в шахматы на высоком мастерском уровне, обычно не возникает трудностей в том, чтобы победить компьютер. Почему? Потому что компьютер, оперирующий грубой силой своих вычислительных способностей, в действительности расточает большую часть своего времени впустую; человек следует более определенной стратегии, осознавая паттерны в целом и создавая на доске такую расстановку, которая постепенно сужает возможности противника. Поэтому для того, чтобы запрограммировать действительно хороший шахматный компьютер, программист должен знать наилучшие шахматные стратегии и должен спроектировать способ, как заложить их в компьютер. Один из изобретателей компьютера — Тьюринг никогда не смог создать компьютерной программы, которая побила бы хорошего шахматного игрока. Сам Тьюринг думал, что это означает, что компьютеры никогда не смогут всего того, что могут

люди, хотя другие компьютерные инженеры решили, что это означает лишь то, что сам Тьюринг был не очень хорошим игроком в шахматы.

Шахматная игра — это весьма хорошая аналогия проблем, с которыми сталкивается компьютер в попытках спроектировать подходящую стратегию для организации. Аналогия слаба в том, что в шахматах все возможные ходы заданы и не может возникнуть ничего неожиданного, чего уже не было бы в системе. Но и в рамках этих ограничений мы можем увидеть, что даже мощь электронных расчетов не в состоянии привести к единственной стратегии, которая максимизирует достижение всех целей организации. Компьютер не придет к единственному решению, а даст диапазон решений — различных сценариев, базирующихся на различных возможных вводных условиях и различных вариантах выхода продукции среди различных целей организации. Менеджеры-люди (486:) все же должны сами делать свой выбор из набора различных сценариев. И даже они могут сделать неверный ход, как показал в последние годы опыт крупных организаций: автомобильные компании могут плохо просчитывать свои рынки и терять миллиарды долларов; Пентагон все еще проводит неудачные операции и растрчивает время, материалы и деньги в мирное время. Введение в такие ситуации компьютеров имеет тенденцию даже затруднить менеджерские проблемы, потому что компьютерный офис — это еще один сегмент в организации, дополнительно усложняющий ее.

Так что даже в мире компьютеров не исчезают проблемы принятия окончательного решения. Наилучшей стратегией остается удовлетворительность. Люди не способны думать как компьютеры, но это оборачивается тем, что даже компьютер фактически не в состоянии думать как компьютер. Везде имеются ограничения абсолютной рациональности.

3.4 Власть неопределенности

Кто же именно в такой ситуации может выступать как обладатель реальной власти? Все имеют ограничения того, как они будут выполнять то, что хотят свершить. Любая крупная организация представляет собою лабиринт непредвиденных обстоятельств, и все ее члены упираются в невидимые стены, воздвигаемые их собственными познавательными ограничениями. Можем ли мы сказать о тех, кто взобрался на вершину, как об относительно наиболее могущественных?

Действительно можем. Одно из главных обобщений, которые возникли из исследования различных организаций и профессий, состоит в том, что наиболее могущественными профессиями являются те, которые контролируют некоторые решающие области неопределенности.

Это было впервые открыто, когда социологи изучали роль штабного эксперта в бюрократии. Штабной эксперт не обладает официальной властью; он или она лишь дает советы менеджеру, в руках которого сосредоточена линейная власть. Тем не менее, было обнаружено, что различие «штаб в сравнении с линейей» не было решительным (487:) противопоставлением. Штабной советник часто мог детерминировать, какое именно решение должен принять линейный менеджер, объясняя суть проблемы таким образом, что можно будет следовать конкретному решению.

Например, инженер или экономист могли представить свои данные так, что становилось ясно: наиболее разумным будет придерживаться определенной линии действий. Однако такой властью обладают не все эксперты. Различие состоит в том, насколько рутинной является проблема. Если она относится к тому типу проблем, которые возникают вновь и вновь, менеджер может вынести суждение в одиночку, и технический совет эксперта оказывает меньшее влияние. Но если проблема лежит в области большой неопределенности, эксперт,

определяющий, в чем именно состоит ее суть, становится очень могущественным. Это происходит вследствие того, что абсолютно заурядный эксперт может без труда решить проблему всякий раз, когда она возникает благодаря тому, что он исключает неопределенность, превращая ее в рутинную задачу. С другой стороны, эксперты в тех областях, где их экспертиза все же не может свести проблему до управляемых пропорций, — это те, чей совет оказывает наибольшее воздействие на то, что будут делать другие люди.

Поэтому юрист, консультирующий фирму по рутинным вопросам, будет иметь относительно слабое влияние на политику в общем. Но тот же юрист мог бы стать могущественной фигурой в деликатной сделке — в случае, когда совершенно неопределенно, что будет думать судья или с чем выступит юрист противоположной стороны. Такого рода случай ставит менеджера компании в тревожное положение, и, следовательно, он с гораздо большей вероятностью будет сильно полагаться на мнение эксперта. А поскольку проблема в целом неопределенна и границы ее размыты, юрист располагает изрядной долей возможностей для того, чтобы внести в нее личное истолкование и различными способами оказать влияние на политику компании.

Этот паттерн близок и к истине в общем и целом. Именно те, кто имеет уникальный доступ в область неопределенности, воздействуют на людей, которые имеют на них большое влияние. Может оказаться так, что эти эксперты реально будут не в состоянии справиться с неопределенностью, (488:) но они в состоянии поставить других людей под свою власть в истолковании того, что происходит. Эта зависимость отбрасывает тень на более общие чувства уважения к ним и может перейти в скрытую власть.

По этой причине некоторые профессионалы гораздо могущественнее других. Когда у вас спустило колесо, автомеханик гораздо надежнее докторов. Но по той же самой причине, квалификация механика не поднимается до очень высокого уровня. Для вас слишком просто было бы ожидать, что машина должна быть отремонтирована к завтрашнему утру, а если нет — вы обратитесь к другому механику. А врачи имеют дело с болезнями, которые гораздо труднее диагностировать и лечить; если доктор, который вас лечит, потерпит неудачу — особенно в критической ситуации, — большинство людей предположат, что это дефект самой болезни, а не врача. Медицина носит более таинственный характер, нежели автомеханика, и это главная причина большего престижа и власти врача.

Частью искусства обладания властью является умение выглядеть настолько загадочным и впечатляющим, насколько это возможно. Врачи удерживают четкий барьер между закулисной частью своей деятельности и публикой, которую они обслуживают; таинственность медицинского знания — это отчасти результат использования специализированной терминологии и нежелания врачей посвятить публику в свои секреты. Для политиков в их стремлении к поддержанию своей власти и престижа секретность носит еще более решающий характер. Правительственный чиновник высокого уровня получает огромные выгоды от своей способности сказать публике, что он или она имеет дело с международным кризисом, детали которого не могут быть обнародованы по соображениям безопасности. Политики стремятся окутать то, что они делают, атмосферой важности. Поддержание секретности — это способ усиления драматичности сферы их деятельности, равно как и недоступности для посторонних. На самой верхушке политики изначально имеют дело с неопределенностью: способы, какими будут реагировать иностранные правительства, способы, какими будут осуществляться экономические сделки, возможные альянсы, которые могут быть заключены с другими политиками на выборах. Политики, помимо всего (489:) прочего, — это дилеры неопределенностей, именно это составляет существо их власти.

Наконец, необходимо отметить, что власть неопределенности можно обнаружить и на более низких уровнях организации, равно как и на высшем уровне чиновников и советников. На некоторых фабриках, например, значительной долей власти обладают обслуживающие и

ремонтные рабочие. В то время как все выполняют свою работу в соответствии с прямыми рутинными функциями, их призывают к действию, когда что-то ломается. Когда это происходит, только они знают, что нужно сделать, чтобы фабрика опять заработала. Они могут делать это быстро или медленно, могут торговаться с менеджерами по поводу своего сотрудничества, потому что только сами они могут реально судить о том, насколько серьезна проблема. Искусно торгуясь, они могут обменять эту власть на влияние на другие аспекты организационной жизни.

Многие другие профессии внутри организаций на средних и даже более низких уровнях имеют некоторые аспекты такого рода власти. Секретарь, вскрывающий почту своего босса, может обладать огромным влиянием на некоторые дела, попадающие в сферу его или ее внимания. Все это скрытая власть, зависящая от способности определить ситуацию людям, находящимся у власти. Поскольку босс не может видеть первым, какого рода информация входит, люди, которые оседлали каналы коммуникации, имеют немало скрытого влияния.

Тогда получается, что власть внутри организации подвержена всем видам случайностей. Может оказаться так, что совсем немного людей контролируют свои собственные информационные области, и могут неожиданно возникать различные области определенности. Всякий раз, когда решаются сложные проблемы, и организация стремится к одновременному достижению нескольких целей, менеджер, как мы видели, оказывается не в состоянии принять какую-либо одну оптимальную стратегию и должен согласиться с удовлетворительной. Удовлетворительность — это и есть стратегия, к которой люди принуждаются вследствие ограничений, создаваемых множественными неопределенностями. Босс ограничен в своих возможностях действовать собственными методами в нескольких областях, и позволяет (490:) им идти своим «нормальным» ходом. Эти «нормальные», «удовлетворительные» уровни в действительности устанавливаются осуществлением скрытой власти других людей в организации.

В конечном счете, власть оборачивается — во всяком случае, отчасти — иллюзией. Некоторые люди могут отдавать приказы, но приказы могут с успехом выполняться только тогда, когда они ограничены рамками определенных возможностей. И, поскольку босс зависит от информации о том, как идут дела, поступающей от других, его или ее приказы всегда отражают скрытое влияние тех, кто обеспечивает его этой информацией, и, следовательно, в первую очередь определяет ситуацию.

Счастливое это положение дел или печальное — зависит от точки зрения, с которой мы на него взглянем. С точки зрения менеджера, это причина, по которой организации никогда не работают вполне ровно. Для кого-то другого, кто проводит политику или желает, чтобы что-то делалось определенным образом, — это рекомендация пессимистического реализма. Однако для людей, которые работают в организации и которые подвержены воздействию власти других людей, утрата власти — это благословение. Парадоксы власти — это главный источник индивидуальной свободы. (491:)

Глава 4. Нормальность преступления

Сложилось несколько широко принятых точек зрения на преступление. Наиболее очевидные объяснения начинаются на уровне здравого смысла. Хотя беда здравого смысла состоит в том, что в нем обычно имеются противоположные мнения по поводу любого предмета, оба из которых исполнены здравого смысла для тех, кто верит в них. Эти взгляды обычно корреспондируют с популярными политическими убеждениями. Грубо говоря, мы можем предпочесть либо консервативный, либо либеральный взгляд на преступление. Как и в других областях социологии, эти очевидные объяснения не заходят слишком далеко. Теоретики социологии, с одной стороны, подвергали критике эти позиции, с другой — использовали их

в попытках сделать их более усложненными. Главный результат такого исследования состоял в том, чтобы дать нам осведомленность о том, насколько сложно понять преступление и особенно контролировать его, следуя предположениям здравого смысла. Преступления все еще происходят; при этом общественность протестует против этого, как и прежде.

Другие социологические теории шли несколько дальше в изучении этого предмета. Однако по мере того как они все глубже погружались в вопрос, причины преступления все больше уходили из области очевидного в область неочевидного. Более радикальная политическая позиция породила свою собственную версию неочевидного понимания преступления, но она поставила также и новые проблемы.

Могу предположить, что наиболее утонченная и наименее очевидная теория преступления восходит опять же к Дюркгейму. Эта проблема оказалась не такой, как мы привыкли (492:) думать. Мы можем столкнуться с таким парадоксом: она встроена в структуру самого общества. Это не означает, что с ней ничего нельзя поделать, однако социальная стоимость контроля за преступлением может включать в себя более трудные изменения, нежели мы считали ранее.

4.1 Консервативные объяснения преступления

Один из взглядов на преступление состоит в том, что преступники — это просто плохие люди; единственный способ, которым с ними можно иметь дело, — это наказывать их. Чем крупнее преступление, тем сильнее мы должны сломить его. Эта позиция удерживалась в течение многих веков, удерживается она и сегодня. Беда только в том, что она реально никогда не работала. В Европе на протяжении 1600-х и 1700-х гг. наказания были настолько жестокими, насколько можно вообразить. Людей вешали за кражу куска хлеба; другим выжигали клеймо или отрезали уши. Некоторых правонарушителей, особенно обвиняемых в религиозных или политических преступлениях, пытали до смерти. Все эти наказания становились публичным спектаклем. Вокруг собирались толпы, чтобы понаблюдать добрую казнь, в то время как вокруг сновали торговцы, предлагая закуску, а люди заключали пари на то, как долго еще будет вопить преступник, поджариваемый на костре. Сегодня людей, которые отстаивают жестокие наказания как средство устрашения преступников, должны восхищать такого рода ситуации.

Однако жестокие наказания не срабатывали. Преступления продолжали удерживаться на высоких уровнях на протяжении сотен лет, несмотря на все эти повешения и увечья. Как же это было возможно, когда люди рисковали подвергнуться столь жестоким наказаниям? Весьма вероятно, что это происходило потому, что сами наказания делали людей бессердечными. Публичные казни создавали барьер для возникновения симпатии между наблюдающей толпой и жертвой на эшафоте. Там, наверху, умирало существо, принадлежавшее в некотором роде к другому племени, в то время как зрители внизу наслаждались этим зрелищем самим по себе. Все это официальное насилие должно было (493:) заставить людей почувствовать, что человеческое страдание стоит очень немногое. Они становились черствыми даже по отношению к себе самим, так что наказания не выглядели для них столь же сильной угрозой, какой они кажутся сегодня. Постепенно крайние меры наказания поощрялись все менее и, наконец, они полностью исчезли.

Подобные ситуации все еще можно обнаружить и сегодня в некоторых уголках мира. В Саудовской Аравии и других мусульманских странах воровство наказывается отрубанием руки, а многие другие правонарушения — смертью. Казни приводятся в исполнение публично, на них требуется присутствие всей общины. Но результаты остаются теми же, что и в средневековой Европе. В этих сельских мусульманских общинах очень высокий показатель убийств. Многие из них, вероятно, обязаны своим происхождением бесчеловечному

отношению к человеческой жизни, которое само берет свое начало из системы легального наказания. Более того, значительная доля насилий в этих обществах даже не попадает в статистику убийств, поскольку санкционируется общепринятым обычаем. Многие из жертв — это женщины, убиваемые своими мужьями, братьями или отцами за такое преступление, как «адюльтер», которое подпадает под прямое воздействие традиционной морали, когда правонарушением может стать даже невинный разговор с женщиной, не являющимся членом семьи. Насильственное наказание за преступление в этих общинах соответствует авторитарной социальной структуре с сильными местными связями и ритуальными барьерами между группами. Это патримониальные общества, организованные вокруг глав семейств; с социологической точки зрения использование ими публичного насилия отражает эту социальную структуру.

Таким образом, у нас могут открыться глаза на то, что наказание преступлений настолько насильственным образом, насколько это возможно, — это в действительности такая политика, которую люди отстаивают не потому, что она доказала свою эффективность. Это скорее политическая позиция или, что то же самое, моральная философия, которая объявляет, что наказание правонарушителей должно быть крутым и даже жестоким или злобным. Сами причины, по которым люди придерживаются такой позиции, (494:) заслуживают объяснения со стороны социологии, поскольку они должны придерживаться его по каким-то иным причинам, нежели его практическое воздействие. Сторонники такой позиции, несомненно, считают ее рациональной, но здесь мы опять видим, что их рациональность имеет нерациональное основание. Они не заботятся о том, чтобы рассмотреть свидетельства того, каким образом работают жестокие сдерживающие средства, они уже заведомо «знают», что их политика правильна. Это чувство правоты есть признак партийной позиции в этой разновидности политического консерватизма.

Несколько более научная версия такой политической позиции предпринимала попытку связать преступление с биологией. И сегодня некоторые исследователи предполагают, что преступники обладают плохими генами; их склонность к совершению преступлений является врожденной и, следовательно, сделать с ними ничего нельзя. Общество может лишь отбирать их в раннем возрасте, подвергая соответствующему тестированию, и впоследствии предположительно избавляться от них тем или иным способом. Как именно это должно делаться — это еще не разработано: будет ли полиция вести полные досье на всех людей с плохой генетикой или такие люди будут подвергаться пожизненному заключению, или подвергаться стерилизации, или даже уничтожению. Обсуждение проблемы даже не доходит до этого пункта, потому что эта ее сторона носит сугубо теоретический характер. Никто не знает, как нужно проводить тест на плохую генетику, и никто не располагает сравнительными свидетельствами того, что такие гены являются причиной преступлений. Современная генетическая теория преступности — это еще одна версия консервативной политической идеологии. В этом нетрудно убедиться, поскольку подобные аргументы относительно преступников применяются к получателям пособий и другим социальным типам, предаваемым анафеме консервативным мышлением.

Биологическая теория преступности не нова. Сто лет назад было популярно говорить, что преступники, равно как и нищие и другие социальные неудачники, просто биологически дефективны. Научное доказательство в то время состояло в измерении величины черепов, которая, как предполагалось, была показателем разума. Спустя какое то (495:) время черепные измерения были отброшены, отчасти вследствие того, что большое число бессловесных людей согласуется со всеми размерами голов, отчасти потому, что различные формы головы больше связаны с различными этническими группами, нежели с преступлением как таковым. Постепенно сильные антипатии к нацистам, которые усердно насаждали биологические теории в практику, оттолкнули большинство людей от такого типа объяснений. Тот факт, что сегодня биологические теории снова стали возвращаться, — это, вероятно, в большей степени

показатель того, каким образом переворачиваются политические течения, нежели какого-то продвижения в биологических исследованиях.

4.2 Либеральные объяснения

Если есть консервативная версия здравого смысла относительно преступления, то должны быть и либеральные версии. Либеральная позиция предпринимает усилия к тому, чтобы понять, что же означает, оказаться в положении преступника. Почему кто-то вступает в преступную жизнь, и что нужно сделать, чтобы помочь ему выйти оттуда? На эти вопросы имеется несколько различных ответов.

Один из них состоит в том, что преступники — это люди, которые просто попали в плохое общество. Молодые окружены преступными шайками, и поэтому сами начинают перенимать ценности правонарушителей. Вскоре они вступают на путь мелкого воровства, мелких актов вандализма и тому подобного. Это все больше и больше втягивает их в культуру правонарушений, и постепенно они переходят к более серьезным преступлениям и становятся полноценными преступниками.

Подобный этому тип преступления заключается в том, что преступники выходят из сломанных семей и давящего соседства. Эти детские стрессы и напряжения делают людей враждебными и небезопасными и ведут их в преступную жизнь. Вырастая в атмосфере нищеты и разрушенных иллюзий, эти юноши не имеют оснований, чтобы присоединиться к нормальному обществу. Они чувствуют, что общество не находит им применения, и у них есть все основания, чтобы отомстить любым возможным для них способом. (496:)

Иногда этот аргумент делает следующий шаг к тому, чтобы предположить, что каких-то людей делают преступниками как раз не их личные обстоятельства, а недостаток возможностей изменить свои социальные условия. Если бы дети из семей бедняков или расовых меньшинств имели шанс улучшить свой мир, они бы стали нормальными, продуктивными членами общества. Именно вследствие того, что они попали в капкан недостатка возможностей, они и превращаются в преступников. Более того, предполагается, что сама социальная атмосфера Соединенных Штатов делает это чувство особенно сильным. Потому что Соединенные Штаты — это ориентированная на достижения культура, в которой от людей ожидается, что они сотворят свой успех сами. Предполагается, что из-за этого давления те, кто не оставил такого стремления, чувствуют себя особенно отчужденными и изливают свою обиду в форме преступления.

Утверждалось, например, что причиной, по которой итаलो-американцы стали столь известны в организованной преступности, было следствие того, что они иммигрировали в Америку как раз в то время, когда была сильна этническая дискриминация. Этнические группы, прибывшие раньше, такие, например, как ирландцы в больших городах, уже получили муниципальную работу более низкого уровня, включая должности в полиции. Имея все ожидания экономического успеха, но столкнувшись с нехваткой легитимных возможностей, многие итальянцы в поисках фортуны обратились к нелегальным способам. Таким образом, мафия оказалась окольным путем в попытке достижения Американской Мечты.

Одна из версий этой линии мысли полагает, что за добрую долю молодежных правонарушений косвенным образом ответственны школы. Школы — это то место, где сильно культивируется идеал «продвижения-благодаря-собственным-заслугам». Вследствие широко распространенных требований предоставления возможностей для восходящей мобильности, в последние десятилетия мы достигли той точки, в которой фактически всех детей поощряют оставаться в школе на протяжении всего периода среднего образования, если не дольше. Однако большинству учащихся ясно, что не все смогут продвинуться одинаково далеко в

образовательной системе. Некоторые обладают академическими способностями, мотивацией, социальными навыками, (497:) связями, тогда как другие — нет. Некоторые учащиеся пребывают в средней школе, потому что уже находятся на начальных ступенях карьеры, в то время как другие просто продолжают учебу по инерции, дожидаясь ее окончания. Согласно этой интерпретации, именно переживание того, что их принуждают к пребыванию в школе, а им самим это ничего не дает, порождает чувство обиды и ведет к молодежным правонарушениям. В таком случае не удивительно, что юные правонарушители нередко начинают с актов вандализма, таких как битье камнями школьных окон.

Можно увидеть, что некоторые из этих аргументов выглядят довольно запутанно. Однако они разделяют тот взгляд, что в действительности преступление — это не вина преступника. Он (или она, хотя фактически большинство преступников — мужчины) скорее не был бы преступником, если бы ему вовремя помогли. Это просто неблагоприятные социальные условия принудили его к преступной карьере.

Такой тип объяснения звучит определенно альтруистично, и он положил начало большому числу усилий, направленных на реформы и реабилитацию, чтобы наставить преступников на путь нормального социального участия. Эта философия господствует в официальной мысли относительно пенитенциарных институтов до настоящего времени. Предполагается, что тюрьмы — это изначально места, предназначенные не для наказания, а для исправления и реабилитации. Поэтому предпринимался ряд реформ, направленных на то, чтобы привести тюрьмы в порядок, устранить жестокие наказания и обеспечить рекреационные и образовательные возможности. Тюрьмы, по общему мнению, стали местом, где преступники могли выучиться полезной профессии, получить документ о среднем образовании, или каким-то иным образом приспособить себя к нормальной карьере, когда они выйдут на волю. В связи с этим расширили свои функции «советы по освобождению под честное слово». Чувствовалось, что для осужденных преступников лучше будет находиться не в тюрьме, а в своей общине под надзором сочувствующего *parole officer**, который будет

* Представителя местной администрации, надзирающего за условно освобожденными и наделенного правом давать льготы арестованным или накладывать на них взыскания. — *Прим. перев.* (498:)

руководить их приспособлением к полезной и продуктивной жизни.

Таким путем все возможные причины, которые, как считают, могут объяснить преступления, должны быть нейтрализованы соответствующей социальной реформой. Если именно с противоправного поступка* начинаются дурные дорожки молодежи, мы предоставляем молодежи услуги со стороны групповых работников, чтобы попытаться отвлечь банды с улиц на надзираемые игровые площадки. К услугам разрушенных семей и разваленных соседств будут социальные работники и проекты обновления городов. Для заблокированных возможностей мобильности будут предоставлены разнообразные возможности, чтобы улучшить жизненные шансы тех, кто был поставлен в неблагоприятное положение, чтобы подольше удерживать их в школе, чтобы обеспечить исправляющие условия и тому подобное.

Как я уже говорил, все это очень альтруистично, но обладает одним большим недостатком. Оно просто не очень хорошо работает. Либеральные программы были в действии в течение десятилетий, а преступность, тем не менее, не снизилась. Напротив, показатели большинства видов преступлений пропорционально численности населения выросли за последние двадцать лет. Ни одна из социальных программ предотвращения преступности не могла бы похвастаться явными успехами.

В этом можно убедиться, взглянув на программы — одну за другой, равно как и в целом. Скажем, работники, наблюдающие за молодежными группировками, или parole officers не имели большого успеха в противостоянии криминальным культурам. Молодежные работники иногда могут устанавливать дружеские отношения с шайкой, но они не в состоянии реально изменить образ ее жизни; и деятельность parole officers — это еще один способ приспособления в жизни экс-заключенных, наряду с другими видами криминальных связей. Тюремь, ориентированные на реабилитацию, терпят явную неудачу. Фактически имеется огромное количество свидетельств того, что тюрьмы, вероятно, утверждают многих заключенных в криминальной карьере как раз благодаря тому, что они оказываются включенными в социальные

* В оригинале — *milieu*. — Прим. перев. (499:)

группы других заключенных, которые придерживаются криминального образа жизни. В тюрьмах господствуют крутые шайки заключенных, обычно организованные по расовым и этническим линиям — Черные Мусульмане, Мексиканская Мафия, Арийское Братство, которые ведут собственные насильственные и жестокие междоусобицы, организуют гомосексуальные насилия, доставляют в тюрьмы наркотики и другие нелегальные услуги. Эти и подобные им организации продолжают действовать и после того, как заключенный покидает тюрьму. Для многих из них контакты с такими организациями могут оказаться наиболее сильными связями из тех, которые они имеют. По иронии судьбы, тюрьма не только не реабилитирует преступников, но часто выступает в качестве организационной базы, которая наилучшим образом способствует экс-заключенным в продолжении их криминальной карьеры. Поэтому вряд ли будет слишком удивительным открытием, что около 40 процентов бывших заключенных опять возвращаются в тюрьмы спустя несколько лет после освобождения.

Такого рода факты — это довольно серьезное обвинение в адрес либеральных теорий преступности и ее предупреждения, однако они не могут полностью убедить ее сторонников в том, что они неправы. Они могут продолжать утверждать, например, что правильно подобранные меры противодействия применялись недостаточно настойчиво. Они могут парировать, что мы нуждаемся в большем числе молодежных работников, или в более активном наступлении на существование нищеты и расовой дискриминации, или в более серьезных усилиях для создания возможностей мобильности для депривированной молодежи, а также бывших заключенных. В этом есть определенная доля правдоподобности, поскольку можно считать истинным, что могло бы быть гораздо больше сделано в этом альтруистическом направлении. Однако возрастает подозрение, что было бы неправильным принять эти теории в качестве основополагающих.

Возьмем теперь такие гипотезы о преступности, как теории сломанных семей и губительного соседства. Такие объяснения представляются соответствующими нашему здравомыслящему взгляду на мир: стресс и депривация ведут к преступлению. Но свидетельства не всегда подтверждают это. Не (500:) каждый ребенок из разведенной семьи становится преступником, фактически большинство таких детей вырастают вполне нормальными людьми. Это особенно очевидно сегодня, когда развод становится практически нормальной и приемлемой частью жизни почти половины семей. Вряд ли справедливым было бы и утверждение, что каждый, кто живет в окружении плохих соседей, становится преступником: это опять же только меньшинство из живущих в таких районах. Значит, сама по себе нищета не может быть причиной преступления, здесь должен быть какой-то другой фактор. Это становится еще очевиднее, когда мы узнаем, что все преступники — это никоим образом не бедняки и не представители расовых меньшинств. Юных правонарушителей можно с равным успехом обнаружить как в районах средних классов, так и в бедняцких районах. Богатые мальчишки, объединяясь в братства, тоже совершают акты вандализма, насилия и изнасилования,

воровства и всего остального, хотя они не всегда несут ответственность за эти преступления. То же самое справедливо и в отношении взрослых. Мы не можем сказать, что более бедные классы в большей степени склонны к преступлениям. Так называемая преступность белых воротничков — это также серьезная проблема, простирающаяся от подделывания чеков до присвоения фондов или тайных подкупов правительственных чиновников или уклонения от уплаты налогов.

Альтруистические, либеральные теории преступности вовсе не адекватны для того, чтобы иметь дело с ее феноменами. То, что на первый взгляд выглядит как реалистичное социологическое объяснение преступности, при более близком рассмотрении вовсе не может объяснить фактов ее проявления. В депривированных слоях общества меньше преступности, нежели предсказывает теория, а в тех частях общества, где эти условия не выдерживаются, преступности больше. Не стоит удивляться, если кто-то придет к заключению, что либеральные методы предотвращения преступности и реабилитации преступников нельзя считать слишком удачными.

4.3 Радикальные объяснения преступности

В современной социологии наблюдается увеличение числа теоретических подходов, которые отвергают более традиционные типы теорий, отдавая предпочтение радикально (501:) новому взгляду на проблему преступности. Здесь теории вступают в область неочевидного и даже парадоксального.

Основным поворотным пунктом в такого рода аргументации стало перемещение критического внимания с преступности на агентов правового принуждения. Например, иногда утверждают, что рост показателей преступности не имеет ничего общего с тем, сколько на самом деле совершается преступлений. Предполагают, что если что и изменилось, так это увеличение числа сообщений о них. Иногда волну преступности нагоняют газеты, более выпукло очерчивая криминальные истории на передовых страницах — возможно, исходя из политических целей, чтобы нападать на городскую администрацию или для того, чтобы поставить проблему преступности в повестку дня к предстоящим выборам. Отмечалось также, что и полиция раздувает показатели преступности для доказательства своих регистрационных способностей. Нераскрытые преступления, о которых прежде не сообщалось, теперь включаются в сводки. Это дает в руки полиции хороший материал для привлечения внимания к своим нуждам в увеличении бюджета.

Выглядит не менее правдоподобно утверждение, что таким способом продуцируются некоторые из упоминающихся сдвигов в показателях преступности. Газеты, в частности, являются не очень надежным источником информации о социальных тенденциях, а официальная полицейская статистика также подвержена предубежденности благодаря сдвигам в методах отчетности. Всякий раз, когда кто-то наблюдает резкий скачок в показателях преступности на протяжении одного года, это часто случается благодаря чисто административным переменам в статистически-отчетной системе. В то же время надо сказать, что не все изменения в показателях преступности могут быть атрибутированы причинам такого рода.

Однако есть и более радикальный смысл в предположении, что преступность создается органами правового принуждения. Это относится к теории навешивания ярлыков. Аргументация развивается примерно таким образом. Практически все молодые люди преступают законы. Они вовлечены в мелкое воровство и акты вандализма. Они ввязываются в драки, пьют тайком, имеют недозволенный секс, курят марихуану или употребляют наркотики и так далее. Это (502:) широко распространено, и это является почти нормальным поведением в определенном возрасте. Решающим здесь оказывается то, что некоторые из этих

молодых людей попадают. Они задерживаются властями за то или за другое правонарушение. Однако даже в этот момент имеется возможность пресечь негативные социальные последствия. Некоторые из этих юношей отделяются предупреждением, скажем, хотя бы потому, что школьные начальники их любят, или благодаря вмешательству их родителей, или же потому, что им симпатизирует сама полиция. Если происходит так, то они спасены от спуска в длинную дымогарную трубу, в конце которой их ожидает полновесная криминальная идентичность.

Если юный правонарушитель действительно арестован по обвинению в преступлении, это оказывает решающее воздействие на его или ее карьеру. Это происходит различными путями. Одно из воздействий носит психологический характер: те, кто раньше более или менее расценивал себя так же, как и других, теперь считают себя чем-то иным. Теперь на них навешен ярлык преступника, юного правонарушителя; они попали в сеть преступных организаций. Каждый шаг вдоль этого пути укрепляет чувство, что они стали кем-то иными, не такими нормальными, они обрели криминальную идентичность.

Когда такое произошло, сойти с этого пути трудно. Личности, перешагнувшей пограничную линию «на ту сторону», бывает невозможно вернуться обратно. Вот почему с точки зрения всех, кто делает упор на реабилитацию — членов молодежного совета, parole officers и остальных, — правонарушители склонны повторить свои преступления, а часто продвигаются к более серьезным правонарушениям. Скажем, начав с того, что попались на вандализме, они могут пойти на угон автомашин. Попавшись через какое-то время на этом и получив более серьезный приговор, они даже еще более глубоко впутываются в преступную идентичность. Если они попадают в тюрьму, то вливаются в компанию других преступников, так что криминальное мировоззрение и образ жизни становятся для них единственным значимым миром. Даже если они не отправляются в тюрьму (или после того, как они освобождаются из нее), они живут в мире, ориентированном на parole officer, а в глубинах их (503:) сознания постоянно присутствуют полиция и суд. Все, что фактически делают либеральные, ориентированные на реформу, контролирующие преступность агентства, служат для правонарушителей постоянным напоминанием об их криминальной идентичности и усиливают ее.

Таким путем создается само-увековечивающаяся цепочка криминальной активности. Ключевой пункт последовательности в целом лежит в самом начале, с которого начинается процесс навешивания ярлыков. Именно первая драматичная конфронтация с законом создает все дальнейшие различия, решая, каким путем пойдет дальше индивид. Или он сохранит нормальный образ жизни, или начнет преступную карьеру, в которой все, что делается для того, чтобы предотвратить ее, фактически делает ее все более неизбежной.

Это скорее психологический способ описания динамики процесса навешивания ярлыков. Я мог бы описать этот процесс под иным углом зрения, не столь сильно подчеркивающим тот сдвиг, который происходит в уме начинающего «преступника», а фиксирующим внимание на том, что происходит внутри самой организации, поддерживающей закон. Социологи, изучающие полицию, указывают, что она являет собою организацию с такими же административными проблемами, что и любая другая организация. Организация в бизнесе, к примеру, нуждается в поддержании уровня своих продаж; полицейская же организация нуждается в том, чтобы задерживать преступников и расследовать преступления. Это отнюдь не легко. Некоторые преступления удается расследовать сравнительно быстро, например убийства (почему так, мы увидим чуть дальше). Но такие преступления составляют незначительный процент от общего их объема. Наиболее обычными и наиболее широко воздействующими на общественность преступлениями являются кражи со взломом, угоны автомобилей и другие типы воровства. Они трудны для расследования именно потому, что их много. На месте преступления обычно остается мало улик и редко бывают свидетели.

Исключая случаи, когда вора ловят с поличным, поймать его или ее бывает трудно. И даже если они задержаны, бывает нелегко заполучить доказательства для представления суду. Поскольку большинство краж совершается в одиночку, обычно бывает невозможным проверить (504:) показания одного преступника для сопоставления с показаниями другого. Как же тогда полиция пытается удержать под контролем эту большую категорию преступлений?

Наилучшей стратегией, которой могут следовать в этой ситуации полицейские, — постараться получить признания от задержанных преступников. Поэтому всякий раз, когда кого-либо арестовывают, скажем, с вещами от кражи со взломом, на них оказывают мощное давление с целью получить признание в других кражах. Используются все методы полицейского допроса, одним из которых иногда бывает применение жестокой силы. Хотя наиболее эффективным способом давления обычно оказывается сделка. Обвиняемых преступников склоняют к признанию в одной из нераскрытых краж, имеющих в полицейском списке; в обмен на это им дозволяется признать себя виновными в какой-то ограниченной мере, например в одном или двух пунктах кражи. Это типичный довод для сделки. Юристы со стороны обвинения и защиты вырабатывают соглашение, что они будут просить судью о частичном наказании, в то время как другие обвинения отклоняются. Каждый что-то получает от этой сделки. Преступник получает более легкий приговор — год в тюрьме или, может быть, даже условное освобождение. Полиция получает возможность объявить о дюжине раскрытых краж, которая позволяет в более выгодном свете представить их департамент в ежегодном статистическом отчете. Юристы со стороны обвинения сокращают время пребывания в суде, судья получает возможность быстрее продвигать дела, сокращая очереди в их слушании и заторы в работе суда. Единственные, кто не извлекают выгод из этой системы, — это жертвы грабежей, которые не получают обратно своего имущества и какой либо реальной защиты в форме поимки настоящих преступников.

Все это оказывает мощное воздействие на усиление процесса «навешивания ярлыков», направляющего людей в русло криминальной карьеры. Способ, которым полиция может поддержать работу своей системы, состоит в том, чтобы прикрепить соответствующие таблички к тем людям, которых легче всего арестовать. Как я говорил, трудно отыскать отдельно взятого грабителя, который несет ответственность за последний налет. Его или ее (но обычно его) бывает особенно трудно найти, если они — новички в этой карьере. (505:)

С другой стороны, легче всего арестовать тех людей, которые ранее уже подвергались аресту. Поэтому один из способов, которым полиция может «раскрыть» ряд ограблений, состоит в том, чтобы нанести неожиданный визит обвинявшимся ранее преступникам, которые выпущены условно. Одним из условий такого освобождения является то, что экс-обвиняемый подвергается надзору. Поэтому полиция является и ищет украденное имущество, нелегальные наркотики или другие улики. Найти их обычно бывает нетрудно, в особенности потому, что те или иные наркотики — это обычно часть любой криминальной культуры. (Что не означает, что такие же наркотики не могут быть также частью образа жизни людей, не имеющих прямого отношения к преступному миру.)

И таким образом полиция может привести в движение процесс заключения сделки. Бывший преступник, особенно условно освобожденный, уязвим уже в силу того, что условия, по которым его освобождают, предписывают ему избегать любых нарушений такого рода. Любое нарушение условий отменяет условное освобождение и отправляет его обратно в тюрьму отбывать то, что положено по приговору. Это оказывает огромное давление на условно освобожденного в сторону многословного признания, требуемого для прояснения полицейских отчетов, в обмен на предложение о сделке, дарующей определенное снисхождение. Такой результат — это еще один раунд досрочного освобождения или тюрьмы и так далее.

Таким образом, цепочка события, которая начинается с того, что на кого-то навешивается ярлык преступника за первичное правонарушение, может завершиться чем-то вроде невидимой тюрьмы в своем собственном праве. Когда кто-то становится известен полиции, она подвергает его организационному давлению, которое будет протаскивать его через систему вновь и вновь. Будет ли он сильно идентифицировать себя с криминальным сообществом или нет, полиция будет стараться сделать это, и выйти из этого круга становится все труднее. Экс-заключенные направляются в машину, которая постоянно репродуцирует их, потому что они представляют собою самый легкодоступный материал.

Теория навешивания ярлыков утверждает, что преступление фактически создается процессом поимки. В отличие от (506:) предыдущих типов теорий, которые мы просматривали, здесь личностные характеристики индивидов, или их социальный класс, или этнические, или соседские основания не играют решающей роли. Предполагается, что все люди нарушают закон. Но только некоторые из них попадают, обвиняются, залепаются ярлыками и всем остальным и поэтому становятся полноценными преступниками. Если преступники, которые проходят через суды и тюрьмы, с такой большой степенью вероятности оказываются бедняками, черными, либо каким-то иным образом подходят под кем-то разработанные признаки «социально нежелательных», «социально депривированных», то это происходит вследствие того, что они являют собою типы людей, которые с наибольшей степенью вероятности могут оказаться арестованными и осужденными. Компания парней, ворующих статуэтку из колледжа или насилующих на вечеринке девушек из университетского женского клуба, отделываются выговором, потому что на такие поступки навешен ярлык «шалости колледжа». Бедный черный юноша, вытворяющий такого же рода вещи, отправляется в юношеский суд и начинает карьеру серьезного преступника.

Существует даже более сильная версия радикального подхода к преступлению. Она утверждает, что преступников создает не просто полиция, а сам закон. Можно привести такой очевидный пример: приобретение наркотиков не было преступлением до тех пор, пока не были приняты законы, превращающее приобретение их частным лицом в правонарушение. В 1800-х гг. использование опиума и основанных на нем препаратов не было нелегальным и было довольно широко распространено. Наркотики можно было купить за прилавком любой аптеки. Многие люди употребляли их в патентованных лекарствах. Другие использовали их как болеутоляющее или потому, что им нравились ощущения, которые они вызывают. То же самое относилось к гашишу, марихуане, коке или кокаину. В начале 1900-х публичное употребление опиума и извлекаемых из него веществ было поставлено вне закона в Соединенных Штатах и — через ряд международных соглашений — в других современных государствах по всему миру. За ними последовали другие законы, запрещавшие употребление кокаина и конопли.

Эти законы внезапно создали новую категорию преступлений. Люди, которые прежде участвовали в чисто приватном (507:) акте, становились теперь преступающими довольно серьезный закон. Это возымело далеко идущие социальные ответвления. Одно из них состояло в том, что были приведены в движение показанные выше процессы навешивания ярлыков, как психологические, так и организационные. Люди, пойманные за правонарушения, связанные с наркотиками, могли теперь переливаться в преступное сообщество и оказывались в тисках криминальной карьеры. В то время как прежде опиум могли приобретать взрослые женщины для лечения от кашля или употреблять рабочие в тавернах, теперь искатели опиума должны были обитать в подполье, организовывать тайные встречи с торговцами наркотиками и, конечно, избегать того, чтобы попадать в поле зрения полиции.

Более того, иллегализация наркотиков имела важный экономический эффект. Когда наркотики продавались на открытом рынке, цена их была относительно низкой, поскольку производство и транспортировка обходились недорого. Но когда наркотики стали

нелегальными, этот бизнес в целом стал резко ограниченным. Как нетрудно убедиться из простого применения правил экономики спроса и предложения, ограничение предложения резко взвинтило цены. В то время как в Англии в начале девятнадцатого века доза опиума стоила шиллинг (что сегодня эквивалентно примерно 25 долларам), теперь героин (производное от опиума в двадцатом веке) стоит 2000 долларов унция. Дилеры наркотиков и потребители их несут сегодня гораздо большие расходы, ведя свою деятельность как можно более тайно, выплачивая взятки, а также неизбежные гонорары адвокатам, когда они попадают. Таким образом, иллегализация наркотиков, взвинтив цены, разветвилась во множество других преступлений, которые прежде не были связаны с рынком наркотиков. Разумеется, распространились не только контрабанда и взяточничество, но также и ограбления и кражи со взломом. Многие из наркоманов, будучи не в состоянии оплатить расходы, связанные с дорогостоящей привычкой к опиатам, обратились к воровству как основному источнику доходов. Так что за первичным решением об объявлении наркотиков вне закона последовало множество других преступлений.

Такого же рода анализ был приложен ко многим другим видам преступлений. К примеру, национальное запрещение (508:) алкоголя, которое имело силу в Соединенных Штатах между 1919 и 1933 гг., создало целую нелегальную культуру подпольных баров, самогонных фабрик, контрабандистов алкоголя и организованной преступной сети для «защиты» этих операций. Это был настоящий бизнес, приносящий регулярный денежный доход; но, как я отмечал выше, контракты в бизнесе не могут выполняться без чего-то такого, что придавало бы им силу, а в данном случае регулярные суды и полицейская система были недоступны, поскольку эти виды деловой активности стали нелегальными. То, что появилось взамен этого, были нелегальные «силы поддержки» в лице Аль Капоне и других мафиозных лидеров. Как и во многих таких случаях, создание одного типа преступления имело тенденцию к созданию цепочки других преступлений.

Аналогичное воздействие имело и объявление вне закона азартных игр. Здесь социологи имели дело с кое-какими интересными материалами о том, как взаимодействуют легальные и нелегальные миры. Нелегальные букмекеры остаются без защиты закона, а поэтому они становятся добычей преступных шаяк, которые вымогают с них деньги за «защиту». Однако те, от кого банды гарантируют защиту, это обычно они сами: если организаторы игры не платят, банда разгромит их офис и изобьет букмекеров. По мере того как банды растут и умудряются опытом, они обнаруживают, что нет нужды прибегать к насилию самим; лучше держаться потише, потому что насилие привлекает к себе слишком много общественного внимания. Если букмекер отказывается платить деньги за защиту, все, что нужно сделать банде, — это предупредить полицию, чтобы та провела облаву по игорным притонам. Поэтому современная организованная преступность действует скорее в симбиозе, нежели в противостоянии с полицией. Помимо прочего, именно благодаря нелегальности игорного бизнеса может действовать рэкет. Находясь далеко не в восторге от либерализации законодательства, преступники такого сорта нуждаются в законе, чтобы добыть себе средства к жизни. Подобным же образом далеко не каждый в нелегальном наркобизнесе обязательно обрадуется декриминализации наркотиков. Цены на опиаты, кокаин или марихуану, если их продавать легально, страшно упадут. В таком случае опять (509:) же станут недоступными огромные прибыли удачливых контрабандистов и крупномасштабных дилеров.

Радикальный подход к анализу преступлений раскрывает весьма иронические взаимосвязи между преступностью и социальной структурой. Действия, предпринимаемые гражданами во имя морали и поддержания законности, вносят свой вклад в возрастание общего количества преступлений. Некоторые социологи утверждали, что объяснение преступности фактически суживает объяснения того, как можно определить конкретные преступления. Предполагалось, что преступления изготавливаются некими «моральными антрепренерами» — людьми, которые стремятся создавать моральные нормы и усиливать их действие в сравнении с другими

сферами деятельности. Другие социологи идут дальше, выискивая экономические и организационные интересы или социальные движения, которые таким способом и формируют преступления. Можно предположить, к примеру, что объявление наркотиков вне закона в начале двадцатого столетия было частью усилий какой-то группы профессионалов-медиков, имевших целью монополизировать сам контроль над всеми наркотиками. Движение сторонников запрещения продажи спиртных напитков можно было бы объяснить как последний рубеж сельских англоамериканских протестантов в их попытках преградить путь тому, что они рассматривали как дегенеративную алкогольную культуру иммигрантов в больших городах. Анализ вдоль этих линий объяснения можно было бы приложить и к нынешним движениям, которые предпринимают попытки создания новых дефиниций преступления, таких, например, как антиабортное движение.

Здесь можно было бы сделать шаг назад и задать вопрос. Все приведенные примеры относятся к типу деятельностей, которые оскорбляют чьи-то моральные чувства по поводу того, что считать приличным. Употребление наркотиков, пьянство, азартные игры — можно добавить сюда проституцию, порнографию, гомосексуализм и другие виды сексуальной практики — все они охватывают в свою сферу влияния тех людей, которые сами охотно соглашаются на такие действия. Эти действия оскорбляют только посторонних. Они представляют собою то, что именуется «преступлениями без жертв». Идея, что общество само создает эти (510:) преступления в весьма произвольном смысле, просто проводя законы против них, имеет большую долю правдоподобности. Ну, а как насчет «настоящих» преступлений, таких, как ограбление, убийство, изнасилование и другие действия, которые наносят вред чьей-то жизни, телу или собственности? Можно было бы с уверенностью утверждать, что эти действия не будут рассматриваться как законные большинством людей, даже если бы не было законов, запрещающих их. Они представляются скорее «естественными», чем «искусственными» категориями преступлений, и люди будут желать остановить их, чтобы поставить вне закона, даже не прибегая к необходимости какого-то морального крестового похода, требующего проведения законов.

Однако наиболее радикальная позиция в социологической теории предпринимает попытку показать, что эти преступления также сотворены социальным образом. К примеру, такое преступление, как ограбление является преступлением только в силу действующей системы собственности. Если бы не было частной собственности, ее невозможно было бы похитить. Более того, если бы общества не были стратифицированы на основе собственности в класс, который владеет средствами производства, и в класс, который заставляет продавать свою рабочую силу для того, чтобы остаться в живых, тогда люди не были бы мотивированы к воровству. Именно капиталистическая система делает одних людей бедными, а других богатыми. Именно структура социально-классового господства превращает в преступления проступки против собственности. Толкуя расширительно, можно утверждать, что и другие виды «серьезных» преступлений — насилие, убийство, изнасилование — могут быть объяснены скорее как часть ситуации классово-стратифицированного общества, нежели как естественный порядок вещей. Если бы можно было устранить это классовое господство, можно было бы устранить и преступление.

Это, конечно, теория, которая стоит того, чтобы о ней подумать. Она обладает тем достоинством, что рассматривает «реальные» преступления как результат конфликта между людьми в стратифицированном обществе и в особенности то, что экономические преступления являются частью общей системы экономической стратификации. Поскольку (511:) наибольшую долю всех преступлений составляют экономические преступления — наподобие грабежа и похищения автомобилей, такой тип теории может объяснить значительную часть их.

Тем не менее, мы не можем отсюда перескочить непосредственно к тому выводу, что преступление — это классовая борьба точно такого же типа, какой трактуется в марксовой модели. Во-первых, когда мы смотрим на то, кто же оказывается жертвами преступлений, мы обнаруживаем довольно удивительные вещи. Представители более бедных классов с гораздо большей вероятностью подвергаются ограблениям, нежели члены более состоятельных. И в Соединенных Штатах это подтверждается как для белых, так и для черных. Фактически жертвами всех видов преступлений, включая убийства, изнасилования, равно как и преступлений против собственности с наибольшей вероятностью становятся черные с самыми низкими уровнями доходов.

В таком случае становится ясно, что существует стратифицированный паттерн преступности, но он не заключается изначально в том, что бедные грабят (а также убивают и насилюют) богатых. Преступники — это вовсе не Робин Гуды. Скорее здесь выявляется тот факт, что преступность носит главным образом локальный характер. Люди грабят, совершают кражи со взломом, убивают и насилюют прежде всего в местах своего обитания. Причина этому весьма проста: здесь имеются самые легкие возможности этого, особенно для подростков, которые вовлечены в большинство преступлений.

Конечным результатом здесь является то, что в преступности существует социально-классовый паттерн, но фактически он выливается в то, что общины имеют тенденцию к сегрегации по признаку социального класса, равно как и по признаку расы и этничности. Следовательно, именно наименее привилегированные люди привержены к совершению преступлений, но при этом их жертвами изначально становятся люди, подобные им самим. Именно бедные главным образом грабят бедных.

Модель классового конфликта релевантна, но мы фактически должны продвинуть ее дальше, чем это делают марксисты. Поскольку, как мы это видели выше (в главе 1), когда люди находятся вне поля сражения за свои собственные (512:) интересы, не имеется причины, по которой они должны доверять кому-нибудь, включая и людей из собственного экономического класса. Здесь значительно больше конфликта, чем можно найти в марксовой картине откровенного обмена мнениями между двумя противостоящими классами. Поскольку для того чтобы рабочему классу сражаться как единый класс против буржуазии, требуется значительный уровень солидарности в собственных рядах. Но это как раз и есть то, чего не хватает в беднейших и наиболее дискриминируемых секторах общества. Самое большее, что удастся сделать, — это создать солидарность в рядах небольших банд с помощью значительной доли ритуализма, такого, например, как особого рода рукопожатия и вербальные игры, которым так привержены члены чернокожих банд. Однако эти банды сражаются, главным образом, между собою и грабят неорганизованных людей в местах своего обитания. До той степени, в какой в группах большего размера не будет солидарности, это будет очень похоже на войну всех против всех.

Таким образом, большая система экономической и расовой стратификации входит в описание общей картины того, каким образом возникает преступление, но окольным путем. Преступность низших классов изначально не является войной против высших классов. Хотя можно было бы сказать, что большая стратификация общества спродуцировала ситуацию, в которой возникает преступность низших классов. У самых низших классов, не обладающих экономическими возможностями даже для скромного существования, и у меньшинств, подвергаемых дискриминации, мало чего имеется такого, что связывало бы их с остальной частью общества. Не обладая солидарностью, которая приходит от свершения приличной карьеры, они действуют в нашем обществе главным образом как эгоистичные индивиды или в лучшем случае — изолированные малые группы, без какого-либо чувства моральных обязательств по отношению к другим. Ситуация, в которой оказываются молодые чернокожие представители низших классов иллюстрирует негативную сторону модели солидарности,

которую мы рассматривали в предыдущих главах этой книги. Там, где социальная организация терпит поражение в своих попытках создания механизмов интегрирования людей в большие групповые (513:) членства, моральные сантименты не появляются. Вместо этого мы обнаруживаем ситуацию «каждый-за-себя» и взаимного недоверия, что, как утверждает Дюркгейм, будет результатом того, что индивиды действуют исходя из собственных эгоистических интересов. Напомним, что в выборе между правилами мошенничества и послушания рациональный индивид, действующий как индивид в чистом виде, всегда будет мошенничать. Это типичная ситуация, в которой живет класс тех людей, которые лишены связей с остальной частью общества.

Модель классового конфликта, будучи смягченной и интегрированной с моделью, показывающей как возникает и не возникает солидарность, дает определенный смысл. Марксистская теория может кое-что сказать нам об этом, если скомбинировать ее с дюркгеймовской. Преступность слишком индивидуалистична, чтобы ее можно было прямо интерпретировать как классовую борьбу. Но именно система классовая стратификация исключает условия для солидарности в наиболее угнетаемых секторах общества. Фактически Маркс мог бы хорошо согласовываться с этим. Он отстаивал обособленный тип классового конфликта с большой долей солидарности внутри самого крупного социального класса, и, следовательно, он не стал бы рассматривать преступность в качестве какой-нибудь реальной разновидности классового конфликта.

Марксова теория имеет и практическое приложение. Если преступность вызывается главным образом экономическими причинами, тогда можно предсказать, что преступления против собственности исчезнут в социалистических обществах. Поскольку частной собственности больше не существует, и все принадлежит общине как целому, индивиды не будут иметь мотивации к лишениям. Свидетельства о преступности в сегодняшних социалистических обществах позволяют нам проверить это предсказание.

Мы обнаруживаем, что воровство, убийства, изнасилования и другие распространенные виды преступлений случаются в социалистических обществах на уровне, который значительно отличается от капиталистических обществ. Полицейские силы не были упразднены за недостатком работы. Преступность в социалистических обществах продолжает существовать. И если мы подумаем об этом, то приходит (514:) на ум вопрос: а почему, собственно, она должна исчезнуть исключительно по той причине, что собственность официально якобы принадлежит всем? Все еще существует проблема противопоставления индивидуальных интересов групповым. Как мы могли бы ожидать из результатов предыдущей дискуссии о проблеме бесплатного пассажира, не существует естественного процесса, который автоматически заставлял бы индивидов в социалистическом обществе считать, что их эгоистический интерес совпадает с интересом общества.

Социалистические общества даже создают, в свою очередь, новые формы преступности, как и предсказывают радикальные теории, даже если приложение может в этом случае оказаться чем-то неожиданным. В таком обществе как Советский Союз осуществление частного бизнеса для извлечения прибыли обычно является преступлением (хотя и делаются некоторые исключения), в то время как в капиталистическом обществе это не так. Следовательно, в социалистических обществах имеется целая категория преступлений, существующих не во всех обществах. Это выглядит так, что если кто-то создает определенную категорию преступности, то люди некоторым образом разобьются в лепешку, чтобы заполнить ее. Так и социалистические общества с не меньшим успехом создали другие новые категории преступности. От директоров предприятий в советской экономике требуется ежемесячно выпускать определенные квоты продукции, и неудача в выполнении этого требования может повлечь за собой обвинение в преступлении против государства. Поскольку эти квоты постепенно повышаются, большинство директоров постоянно находятся под угрозой

обвинения. Точно так же, как мы видели в примере с законами о наркотиках или азартных играх, создание категории промышленного преступления в социалистических обществах влечет за собой возникновение соответствующих типов преступлений. Советские директора предприятий вовлекаются во все виды деятельности, стремясь к тому, чтобы уровни производства выглядели удовлетворительно, включая такие способы, как фальсификация записей, сдвиги отгрузки и поставки с одного месяца на другой, с помощью чего они пытаются удержаться против системы. Обычной практикой становится нелегальный сговор между двумя (515:) чиновниками, в то время как их начальники не могут помочь, однако знают о том, что делают их подчиненные, хотя и втягиваются в это сами, не докладывая об их нарушениях выше. В такой ситуации возникает взяточничество, а из этого появляются другие виды нелегальных взаимодействий, включая перемещение общественных благ в частные руки. Если мы взглянем на Соединенные Штаты и на СССР с определенной долей абстракции, то увидим, что в обоих случаях есть нечто, связанное с давлением легальных структур, что и создает структурный эквивалент организованной преступности.

Конечно, можно утверждать, что Советский Союз — это в действительности не очень хороший пример подлинного социализма. Он недостаточно приближается к идеалу нестратифицированного общества. В существующих обществах советского стиля государство и коммунистическая партия, как представляется, занимают место капиталистов и обеспечивают свою форму господства. Действительно, эти общества производят свои собственные формы преступности со всеми их ответвлениями. Хотя базовый пункт радикального подхода состоит в том, что эта преступность вызвана не индивидом или его социальным окружением, а поощрением аппарата. Он навешивает ярлыки или проводит в жизнь законы, которые создают преступления. Из этого следует, что если бы кто-то изменил криминальные законы, преступность бы исчезла.

Фактически такого рода обстоятельства возникают всякий раз, когда происходит нечто подобное. К примеру, в 1944 г. Дания была оккупирована армией Нацистской Германии. Однако в том же году объединенные британские, американские и канадские силы высадились во Франции, и немцы опасались революции в Дании. Они арестовали всю датскую полицию и оставили страну без полицейских сил. Такое положение длилось почти год — до тех пор, пока союзники не достигли Дании в 1945 г. Что же происходило с преступностью на протяжении этого промежутка времени? Число ограблений возросло до уровня, почти в десять раз превышающего обычный. Стало быть, можно утверждать, что в отношении преступлений против собственности теория навешивания ярлыков работает не очень хорошо. Общество, лишенное какой либо поддержки законов не устранит пре-

516

ступность; наоборот, без сомнения возникнет ситуация, в которой многие люди возжелают чего бы то ни было, принадлежащего другим людям. Будет бессмысленно разглагольствовать по поводу проблемы бесплатного пассажира, если общество не пропитано очень сильными моральными чувствами — условие, которое, конечно, является не совсем обычным для современного общества.

Хотя интересно отметить, что показатели преступности в Дании выросли только по категории преступлений против собственности. Не произошло изменений, например, в числе убийств и сексуальных преступлений. Они представляются преступлениями, совершаемыми скорее в порыве страсти, и мотивируются такими способами, с которыми аппарат принуждения ничего не может поделать; это подтверждается и другими свидетельствами.

В последние десятилетия было немало противоречий по поводу смертной казни. Если мы оставим в стороне охватываемые этим моральные вопросы и сосредоточимся лишь на том, что

было сделано, то увидим некоторые интересные паттерны. В некоторых штатах в США сохранена смертная казнь, в то время как другие отменили ее. Если мы сравним между собою штаты, схожие по своим социальным характеристикам, обнаруживается, что они имеют примерно одинаковые показатели убийств, независимо от того, есть ли в них смертная казнь или нет. Представляется, что убийства не имеют отношения к любым социальным расчетам. По тем же признакам ни одна из приведенных выше социологических теорий не может удовлетворительно объяснить убийство.

Ранее я упоминал, что убийства полиция раскрывает сравнительно легко. Почему? Это происходит вследствие того, что огромное большинство убийств совершается людьми, которые лично знают свои жертвы. По этой причине самая обширная категория убийств — это убийства, совершаемые внутри семьи, в особенности в тех случаях, когда один из супругов убивает другого. Следовательно, раскрыть убийство бывает не особенно трудно. Полиции нужно лишь поискать кого-то, кто знал жертву и имел какие-то мотивы, чтобы быть особенно разгневанным на нее. Поэтому если вы подумываете об убийстве вашего мужа или жены, забудьте об этом, поскольку вы автоматически становитесь подозреваемым номер один. (517:)

Все это вносит свои дополнения в картину, на которой преступления разделяются на два различных типа. Есть преступления без жертв, весьма интенсивно создаваемые теми социальными силами, которые определяют их как преступные; люди, которые становятся заклеенными как преступники за такого рода проступки, обычно оказываются втянутыми в сети другой преступности в результате законоподдерживающего процесса. Существуют также преступления против собственности, которые также некоторым образом релевантны тому способу, каким индивиды совершают свои криминальные карьеры, но которые ни в коем случае не исчезнут, если даже приостановить действие законов. И есть преступления, совершаемые в порывах страсти, которые, как представляется, в гораздо большей степени происходят из чисто личностной природы, и которые не связаны ни с одним из факторов, обсуждавшихся нами выше.

Есть ли какой-либо общий взгляд, который охватывает все это? Да, я уверен, что есть. Однако он самый неочевидный из всех и не находящий какого-либо заметного резонанса в сердцах ни консерваторов, ни либералов, ни радикалов. Это взгляд, который провозглашает, что преступность — это нормальная и даже необходимая черта всех обществ.

4.4 Социальная необходимость преступности

Такой взгляд, как и многие другие неочевидные идеи в социологии, возвращает нас к Эмилю Дюркгейму. В этом подходе преступление, равно как и наказание за него являются базовой частью ритуалов, которые поддерживают любую социальную структуру. Предположим, истинность мнения о том, что процесс наказания или исправления преступников неэффективен. Суды, полиция, система надзора за условно осужденными — ни один из этих методов не является особо эффективным в том, чтобы отвлечь преступника от дальнейшей преступной жизни. Это не очень удивило бы Дюркгейма. Можно утверждать, что социальная цель этих наказаний состоит не столько в том, чтобы оказать реальное воздействие на преступника, сколько в том, чтобы разыграть некий ритуал, служащий для выгоды общества. (518:)

Напомним, что ритуал — это стандартизованное, церемониальное поведение, исполняемое группой людей. Оно включает в себя общие для всех эмоции и создает символическую веру, которая еще сильнее привязывает людей к группе. Теперь — в случае наказания преступников — люди, группа, которую надлежит сплотить воедино, — это вовсе не преступная группа. Это остальная часть общества, те самые люди, которые наказывают преступников. Преступник не

является ни лицом, пользующимся выгодами ритуала, ни членом группы, которая разыгрывает ритуал, он представляет собою всего лишь сырье, из которого творится ритуал.

Представим сцену в зале суда. Человека обвиняют в убийстве. Сцена носит театральный, подавляюще традиционный характер. За высоким деревянным столом сидит судья, облаченный в черную мантию, отчужденная, авторитарная фигура, символизирующая закон. Обитые деревянными панелями стены выстроены в линию с томами статутов и прецедентов: история закона в позолоченных переплетах. Пространство перед скамьей судьи отделено перилами — разновидность некоего священного пространства, охраняемого вооруженным судебным приставом, куда никто не может войти без разрешения судьи. С одной стороны, в другом огороженном пространстве — жюри присяжных. В другом специальном месте — заключенный обвиняемый — бок о бок со своими адвокатами и вооруженной охраной: негативное место тюремной камеры, куда никто не ступит добровольно.

Короче говоря, вся сцена в целом представляет собою ритуализированное, живописное распределение различных ролей для отправления правосудия. Свидетели выдвигаются вперед и приводятся к присяге в особо торжественной манере, включающей в себя угрозу наказания их самих в случае ее нарушения. Адвокаты с обеих сторон приводят доказательства, следуя выработанному этикету, стараясь возбудить среди членов жюри коллективные сантименты, которые склонили бы принятие вердикта в их пользу. А за ограждением сидит публика, состоящая как из частных лиц, так и из представителей прессы.

Эта последняя группа — публика — она и есть подлинный объект ритуала. Представление судебного процесса ставится, в конечном счете, для ее выгоды. Убийца признается (519:) виновным или нет; в том и другом случае закон персонифицируется, выполняется, проводится в жизнь. Публика должна получить еще подтверждение того, что законы существуют и что они не нарушаются. Особенно мощное эмоциональное воздействие имеет тот ритуал, в котором кого-то признают виновным в серьезном преступлении, и сверх всего — в эффектном убийстве, которое привлекает внимание всей общины. Потому что для динамики ритуала не имеет значения, какая это разновидность эмоции; это может быть отвращение к ужасающему деянию, гнев и желание наказать или, напротив, симпатия к обвиняемому в осознании его смягчающих обстоятельств. Важно, что эмоция сильная и она при этом широко разделяется другими. Именно это эмоциональное соучастие сплачивает группу воедино и воссоздает ее как единую общину.

В таком случае выходит, что главным объектом ритуала «преступление-наказание» является не преступник, а все общество. Судебный процесс вновь и вновь подтверждает веру в законы и создает эмоциональные узы, которые вновь и вновь связывают членов общества воедино. С этой точки зрения иррелевантно, каким именно образом реагирует на все это сам преступник. Преступник — это аутсайдер, объект ритуала, а не участник его. Он или она необходимый материал для продуцирующей солидарности машины, а не получатель ее выгод. Театральное представление судебного процесса, когда оно ставится под публичным взглядом, рассчитано именно на движения. Впоследствии может оказаться, что данный процесс не пришел к выяснению истины. Обвинение может быть отозвано вследствие признания технических ошибок. Преступники могут попасть в переполненную тюрьму, где приобретут новые криминальные контакты и станут еще глубже привержены преступной жизни. Скорее, нежели от него ожидалось, совет по освобождению под честное слово может прийти к решению разгрузить переполненную тюрьму, освобождая их, и они опять выйдут под надзор, в рутину полицейских проверок и во все остальное, что связано с продолжением криминальной карьеры. Если мы взглянем на систему криминального правосудия с точки зрения того, как сделать что-то, чтобы воспрепятствовать преступности, то увидим, что она неэффективна, даже абсурдна. В ней будет больше смысла, если (520:) мы осознаем, что все социальное

давление ложится на драматизацию наказания и что это делается для того, чтобы убедить общество в целом в валидности правил, а не обязательно для того, чтобы убедить преступника.

Из этого следует даже более парадоксальное заключение. Общество нуждается в преступности, говорит Дюркгейм, если это необходимо для его выживания. Иначе правила не могли бы церемониально выполняться и пришли бы в общественном сознании в упадок. Моральные сантименты, которые возникают, когда члены общества чувствуют общее возмущение против какого-то ужасающего нарушения, больше не будут ими переживаться. Если общество слишком долго прожило без преступлений и наказаний, его собственные узы отомрут, и группы распадутся.

По этой причине, объяснял Дюркгейм, общество будет заниматься «производством преступлений», если они уже не существуют в нем в достаточном объеме. Поэтому то, что считается сейчас преступлением, может значительно видоизменяться в зависимости от того, к какому типу общества этот социум относится. Даже общество святых найдет, из чего сотворить преступление — хотя бы из любого малейшего уменьшения святости по сравнению с другими. Иначе говоря, святые тоже будут иметь свои центральные, особо священные правила, и те, кто не следуют им столь же усердно, как остальные, будут отбираться для отправления ритуала наказания, который служит тому, чтобы драматизировать и еще выше поднять правила.

Насколько много можем мы принять из дюркгеймовской теории? Я сказал бы, что кое-что из сказанного в ней — не совсем правильно. Дюркгейм представляет нам функциональный аргумент: если обществу необходимо выжить, тогда оно должно иметь преступность. Но нет необходимости в том, что любое конкретное общество должно выживать; следовательно нет необходимости, чтобы для этого существовала преступность. Дюркгейм смотрится лучше, когда он объясняет механизм, который иногда используется: если выполняются определенные ритуалы (в данном случае ритуалы наказания), тогда социальная интеграция возрастает; если нет, тогда имеет место меньшая интеграция. Будет механизм использоваться или нет — это другое дело. (521:)

Но если мы слегка переместим нашу точку зрения, то сможем увидеть, что имеется множество случаев, когда этот механизм фактически приводится в действие. Общество как целое — это только понятие, и, следовательно, «общество» в действительности ничего не делает. Реальные актеры на этой сцене — это различные индивиды и группы. Именно эти группы используют ритуальные наказания для того, чтобы увеличить свои собственные чувства солидарности и свою собственную власть, чтобы господствовать над другими.

Поэтому мы можем сказать, что забота о наказании преступников — это лишь один из аспектов борьбы между группами. Это символическая форма политики. Если вы задумаетесь над этим, то придете к выводу, что не существует прямой рациональной причины, по которой люди были бы должны беспокоиться по поводу преступлений, совершенных против других людей. Почему я должен заботиться, если кого-то ограбили, убили или изнасиловали? Говорить так — не очень морально, но дело именно в этом: люди должны ощущать какую-то моральную включенность в группу, чтобы озаботиться «проблемой преступности». Вы могли бы, конечно, ответить, что каждый должен быть обеспокоен преступлениями против других людей, потому что такое могло бы случиться и с вами. Что ж, здесь можно и согласиться, и не согласиться: жертвами преступлений становится ежегодно около одного процента населения Соединенных Штатов. Объективно ваши причины идентифицировать себя с жертвами преступления не так уж и сильны, если столь малы шансы оказаться среди жертв.

Это правда, что некоторые группы имеют гораздо более высокие показатели виктимизации*: бедные, черные, молодые. Подростки, которые совершают большинство преступлений,

становятся также и наиболее частыми жертвами преступлений: в то время как значительно менее 1 процента людей старше пятидесяти подвержены таким преступлениям, как воровство или насилие, от воровства ежегодно страдают практически 15 процентов подростков и около 6 процентов подвергаются насилиям. Как ни парадоксально, именно те люди, которые в наименьшей мере страдают от преступлений, больше всех заботятся о проблеме преступ-

* От англ. *victim* — жертва. — *Прим. перев.*

522

ности. Так значит, озабоченность по поводу преступности — это в значительной мере символическая проблема. Те люди, которые больше всего подвергаются преступлениям, с наименьшей вероятностью будут поднимать крик по поводу ее.

Этот процесс носит, как я полагаю, скорее политический характер. Некоторые политики очень много говорят о нем. Почему у них возникает желание поступать таким образом? Потому что сама идея преступности возбуждает многих людей, особенно если воображение у них работает таким образом, что они идентифицируют себя с жертвами преступлений. Газеты и масс-медиа вносят в это свою лепту яркими публикациями об отдельных преступлениях, которые вызывают наибольший «человеческий интерес». Но ведь это такие преступления, в которых жертвы наиболее нетипичны, т. е. являются видными гражданами или представителями высших классов или белого населения. Этот тип избирательной драматизации преступления и его наказания (сцена в зале суда) работает, подобно дюркгеймовскому ритуалу, на мобилизацию населения — и, между прочим, на то, чтобы оказать помощь определенным политикам, которых и выбирают благодаря их сильному лидерству в деле борьбы с преступностью.

Эти ритуалы обращены к людям, которые уже плотно интегрированы в доминантные группы. Ключевая аудитория здесь состоит из процветающих людей среднего или старшего возраста, проживающих, к примеру, в пригородных зонах или небольших городках, и получающих моральный заряд из чтения материалов по криминальным проблемам в газетах, восседая на своих удобных стульях. Это люди, чьи общины организованы с помощью огромного объема ритуальной солидарности, и, следовательно, они в наибольшей степени восприимчивы к моральным призывам наказания преступников, чьей жертвой стал кто-то другой. Это к тому же те самые люди, которые наиболее озабочены тем, чтобы наказывать правонарушителей по чисто символическим поводам, таким как наркотики, азартные игры и проституция. Эти «преступления без жертв» фактически совсем не затрагивают тех людей, которые ими возмущаются. Это скорее символические правонарушения против идеалов, которые сильно интегрированные и, следовательно, высокоморальные господствующие группы рассматривают как

523

сущность своей правоспособности. Переживая по поводу преступлений без жертв, эти группы подтверждают свой статус и свое ощущение правоспособности. Сам акт некой оскорбленности помогает им ощущать свое членство в «респектабельном» обществе.

Ритуалы наказания в определенном смысле удерживают общество воедино: они удерживают единую структуру господства. Они делают это, отчасти мобилизуя эмоциональную поддержку политиков и полиции. Помимо всего прочего, они усиливают чувство солидарности внутри привилегированных классов и могут помочь почувствовать свое превосходство в отношении тех, кто не следует их собственным идеалам. Беспокойство по поводу преступления

узаконивает социальную иерархию. Общество, которое удерживается воедино с помощью ритуала наказания, — это стратифицированное общество.

В этом смысле преступность встроена в общую социальную структуру. Любые ресурсы, которые использует господствующая группа для контроля, будут иметь связанные с ними преступления. Поскольку имеет место непрекращающаяся борьба между группами за господство, какие-то из групп будут преступать стандарты других групп. И те индивиды, которые наименее интегрированы в любые группы, будут преследовать собственные индивидуальные цели безотносительно к морали, выдерживаемой другими. Поэтому обычно не бывает недостатка в действиях, оскорбительных в отношении многих групп общества. И эти оскорбления в какой-то степени приветствуются господствующими группами. Преступление дает им случай для отправления церемоний наказания, которые драматизируют моральные чувства общины, которое подпирает их групповое господство.

Это означает, что любой тип общества будет иметь свои собственные особые преступления. Что остается постоянным во всех обществах, так это то, что каким-то образом законы должны быть введены в действие таким способом, чтобы совершались преступления и наказания. Племенные общества имеют свои табу, преступание которых влечет свирепое наказание. Пуритане в колониях Новой Англии со всем их интенсивным моральным давлением верили в преступность колдовства. Капиталистические общества имеют (524:) бесконечные определения преступности относительно собственности. Равным образом социалистические общества имеют свои преступления, особенно политические преступления нелояльности государству и индивидуалистические преступления недостаточности чистосердечного участия в жизни коллектива. Взгляд, брошенный через призму ритуальности, обнаруживает, что все общества производят свои собственные типы преступлений. Можно перемещаться от одного типа преступлений к другому, но невозможно избавиться от преступности вообще.

Преступление — это дело ни простой нищеты и социальной дезорганизации, ни — в особенности — злых или биологически дефективных индивидов. Теория навешивания ярлыков несколько ближе к истине, однако эти процессы гораздо шире, чем просто социально-психологические события, зарождающиеся в умах правонарушителей. Преступники являются лишь частью более крупной социальной системы, которая охватывает общество в целом.

4.5 Пределы преступления

Если преступление продуцирует социальная структура в целом, то хотелось бы знать, существует ли какой-то предел в объеме порождаемой ею преступности. Если преступление помогает удерживать общество как единое целое, не следует ли отсюда парадоксальным образом, что чем больше преступности, тем лучше будет оно интегрировано? Очевидно, должна существовать какая-то точка, за пределами которой преступность окажется слишком большой. Не останется никого, кто поддерживал бы закон, и общество развалится на части.

Тем не менее, этого обычно не происходит. Если мы заглянем в суть дела поглубже, то увидим, что причины кроются вовсе не в том, что поддерживающая закон сторона эффективно контролирует преступность, а скорее в том, что преступность имеет тенденцию ограничивать себя сама. Взгляните, что происходит, когда преступность становится все более эффективной. Отдельные воры уступают дорогу шайкам, а шайки — организованным криминальным синдикатам. Однако, заметьте, организованная преступность теперь становится сама по себе маленьким обществом. Она (525:) создает свою собственную иерархию, свои собственные правила, и она старается поддерживать исполнение этих правил своими членами. Организованная преступность стремится к регулируемости и нормальности. Она начинает обуздывать излишнее насилие и конкурентную борьбу. Чем более успешно идет этот процесс, тем больше он приближается к обычному бизнесу. В таком случае сама успешность

преступности имеет тенденцию к тому, чтобы сделать ее законопослушной. То же самое можно наблюдать исторически.

В определенные исторические моменты политические силы состояли из небольших, более чем мародерствующих шаек воинов или разбойничьих баронов, которые грабили любого, кто попадался на их пути. Сам успех некоторых из этих хорошо вооруженных преступников, если можно их так назвать, означал, что они должны были взваливать на себя все больше ответственности за поддержание вокруг себя социального порядка. Как минимум, такая воинская банда должна была поддерживать дисциплину в своих рядах, если она хотела действовать более эффективно в деле грабежа других. Более удачливые разбойничьи бароны во все большей степени превращались в стражей законов. Государство возникало на основе преступности, но для того чтобы выжить, оно было вынуждено создавать правила своего существования, особую мораль.

Если сама социальная жизнь порождает преступность, то и преступность также имеет тенденцию к тому, чтобы создавать свой собственный антитезис. Помимо всего прочего, ведь это не так уж легко — быть удачливым преступником. Если, скажем, вы сегодня начинаете свою воровскую карьеру, что вам нужно сделать? Во многих отношениях это то же самое, что и обучение любой другой профессии. Вам необходимо изучить приемы этого ремесла: как проникнуть в дом, как открыть запертую машину. Вам нужно узнать, где приобрести соответствующие инструменты: к примеру, где взять оружие, если вы хотите стать вооруженным грабителем. И вам нужно научиться, как сбывать награбленное, когда вы его украли; если вы хотите продать его за наличные, вряд ли вам поможет просмотр множества телевизионных постановок. И чем дороже награбленные вещи, тем труднее сбыть их с выгодой для себя. Для того чтобы иметь необходимые знания при краже, например ювелирных (526:) изделий и произведений искусства, нужно и пройти специальное обучение по поводу того, как распознать объекты по их ценности, и занять особые связи для их сбыта. Украденные машины, благодаря существующим правилам лицензирования и закрепления серийных номеров, также можно выгодно сбыть только при наличии хорошо функционирующей криминальной организации.

Любой начинающий преступник должен многому научиться и занять множество связей. Те, кто только-только начинают криминальную карьеру, не могут далеко продвинуться в преступном мире именно по тем же причинам, по каким большинство людей в легальном бизнесе никогда не достигнут уровня администратора корпорации. Среднее ограбление приносит чистый доход менее 100 долларов, и это, конечно, не самый быстрый путь к богатству. Преступность — это тоже конкурентный мир, коль скоро кто-то приходит в него для того, чтобы занять себе хорошую жизнь. Частью этого является своеобразный рыночный эффект — наличие спроса и предложения. Чем больше награбленных вещей появляется в притоне для краденого, тем меньше за них будут платить. Закоренелые преступники не имеют оснований, чтобы пожелать помогать кому бы то ни было обучаться их ремеслу и приобрести необходимые связи. Следовательно, многие из новичков просто «вылетают по неуспеваемости»; для них не хватает места в преступном мире.

Возможно, как раз по этой причине пик показателей преступности приходится на молодежь в возрасте от пятнадцати до восемнадцати, а после этого они резко падают. Юноши в этом возрасте вовлечены в преступность не вполне серьезно; они еще не так много знают о преступном мире. У них не очень много собственных денег или не очень много понимания того, что можно делать с деньгами. Мелкие кражи могут показаться для них легким путем к тому, чтобы получить немного роскоши. В этом возрасте, например, очень высок уровень краж автомашин. Но подростки слабо представляют себе, как продать украденную машину; с большей вероятностью они покатаются на ней в свое удовольствие, а потом избавятся от нее. Очевидно, из такого образа жизни трудно извлечь что-то серьезное. Если показатели

преступности падают в позднем подростковом возрасте и достигают довольно низкого уровня к тридцати годам, то это происходит (527:) не столько благодаря эффективности правоохранительной системы, сколько вследствие того, что большинство малолетних преступников просто вымываются из криминальной карьеры. (Опять же, как я упоминал, большинство преступлений совершается мужчинами, и этот их профессиональный паттерн заслуживает внимания). Преступления просто не могут принести им достаточного дохода, и они становятся вынуждены заняться чем-то иным, чтобы найти свою дорогу во взрослом мире.

В конечном счете, проблема преступности, равно как и ее решение, встроена в социальную структуру гораздо глубже, чем это представляется здравому смыслу. Преступность столь трудно поддается контролю вследствие того, что она продуцируется широкомасштабными социальными процессами. Полиция, суды, тюрьмы, системы надзора не очень эффективны в предотвращении преступности, и сама эта неэффективность предопределена их в значительной степени ритуалистической природой. А с другой стороны, преступность имеет свои собственные ограничения. Она наилучшим образом работает тогда, когда лучше организована, но чем больше она организована, тем более она становится законопослушной и на свой манер — самодисциплинированной. Индивидуальные преступники, хотя бы они того или нет, выдавливаются конкуренцией самого преступного мира в мир обычного общества и его законов. Преступность и общество качаются туда и обратно на этой диалектике противоположных ироний. (528:)

Глава 5. Любовь и собственность

На протяжении очень долгого времени семья и отношения между полами были одним из наиболее само собой разумеющихся аспектов жизни общества. Очевидным был взгляд, что мужчины и женщины имеют определенные естественные функции. Место мужчины на работе и в общественном пространстве. Место женщины — дом, заботы о кухне и детях. Семья представляет собою естественное разделение труда между полами. Мужчина — кормилец и защитник, женщина — хранительница очага и воспитательница детей.

В двадцатом веке женщины в значительном числе покидали домашнее хозяйство, но даже и тогда в течение долгого времени считалось само собой разумеющимся, что женщины на работе прислуживают мужчинам: они могли работать секретаршами, нянями, официантками, стюардессами, обслуживающими мужчину-хозяина или мужчину-клиента. Женщина могла быть школьной учительницей, но не профессором колледжа, за исключением женских колледжей. Даже в общественной сфере от женщин ожидали выполнения тех же ролей, которые они играли дома, заботясь о мужчинах и детях.

Сегодня такой взгляд подвергается атакам. Развивается энергичное движение за освобождение полов, которое начало оказывать на некоторые из наиболее очевидных моментов женской дискриминации в сфере занятости. В то же время ясно, что феминистскому движению еще далеко до достижения равенства между полами. Некоторые женщины начали распространять его на более высокие профессиональные сферы и политики. Но огромное большинство (529:) женщин все еще выполняют типично женские роды занятий, такие как работа секретарши или няни, которые не только сравнительно низко оплачиваются, но и не предлагают шансов на продвижение в более высокие сферы, где доминируют мужчины, их боссы. Семья также остается в значительной мере традиционной, поскольку за женщиной сохраняются обязанности домохозяйки и няньки своих детей, даже если они также имеют работу.

Что же, вероятно, произойдет в будущем? Очевидный взгляд здесь может мало что предложить. С одной стороны, если старое разделение труда между полами было абсолютно естественным, тогда вообще невозможны какие-либо перемены. Тот факт, что *какие-то* изменения все же происходят, необъясним с этой традиционной точки зрения. В ответ на

женское освобождение в некоторых странах неожиданно возникло реакционное контрдвижение. Это движение пытается вернуть женщин обратно в рамки семьи и восстановить старые традиционные аттитюды полов. Но само по себе существование просемейного, анти-феминистского движения — это верный признак того, что что-то неладно в традиционном положении вещей. Если старомодная семья была столь естественна, то не было бы необходимости заставлять людей вернуться в нее.

С другой стороны, наблюдается возрастающее ощущение, что сама семья может изживать себя. Показатели рождаемости падают, так что детей становится все меньше, а коэффициенты разводов поднимаются до очень высокого уровня. Как это вписывается в общую картину? Является ли это признаком социальной дезорганизации и приближением к гибели, как это воспринимают традиционалисты? Или это каким-то образом связано с движением к освобождению женщин?

И здесь важный вклад может внести неочевидная социология. Но опять же мы должны быть избирательны. Хорошая доля традиционной социологии имеет лишь приукрашенный взгляд, рассматривая семью и традиционные половые роли в современном обществе как совершенно функциональные. Но имеется еще один, более утонченный взгляд на положение вещей. Одна из ветвей социологической традиции, возвращающая нас в конец девятнадцатого века, к Фридриху Энгельсу, помогла нам понять, что семья (530:) и отношения полов не являются лишь естественными, а существуют как часть системы социальной стратификации. Теория половой стратификации как раз сейчас находится в процессе своей разработки и вокруг того, как она работает, ведется изрядная дискуссия. Но можно установить определенные базовые и неочевидные позиции.

Руководящая идея, которой я буду следовать, состоит в том, что семейные отношения — это отношения собственности. Эта собственность нескольких родов: (1) права собственности на человеческое тело, которые мы могли бы назвать *эротической собственностью*; (2) права собственности, которые относятся к детям — давайте назовем ее *родственной собственностью*; (3) права собственности на имущество, находящееся в распоряжении семьи — назовем ее *собственностью домохозяйства*.

Этими тремя типами собственности и создается семья. Я утверждаю, что основной способ, которым они переплетаются с миром труда, — это половая дискриминация в сфере занятости. При понимании этих форм собственности, немаловажно увидеть, что они не являются статичными. Системы собственности, включая сексуальные, не являются естественными и навеки неизменными. Они продуцируются определенными социальными обстоятельствами и изменяются вместе с этими обстоятельствами. Если мы поймем эти условия, мы сможем предсказывать различные типы сексуальной стратификации. Нынешний тип структуры семьи и сексуального господства существовал не всегда и не будет продолжаться бесконечно долго в будущем. Если мы хотим узнать, насколько далеко может простираться женское освобождение, и какие условия делают его возможным, мы должны обратиться к такой теории, как эта.

5.1 Эротическая собственность

Как могут люди быть собственностью? Если исключить рабство, которое вряд ли где сохранилось, люди не могут быть куплены и проданы. Человеческие существа не обладают монетарной стоимостью; мы оцениваем себя вне денег. Люди — это не вещи; они представляют цели в себе. Следовательно, может показаться, что люди не являются собственностью, по крайней мере, в современном мире. (531:)

Хотя было бы ошибочно думать о собственности обязательно как о вещи, а особенно как о такой вещи, которую можно купить и продать за деньги. На самом деле собственность — это не сама вещь как физический объект. Собственность — это социальное отношение, *способ, которым люди обращаются с вещью*. Что означает, например, что участок земли кому-то «принадлежит»? Это означает, что данная личность может им пользоваться, жить на нем, ходить по нему, когда он или она пожелает, и что другие люди должны покинуть его, если не получили разрешения. Если они не сделают этого, владелец может вызвать полицию или обратиться в суд, чтобы изгнать их. Собственность — это отношение между людьми, оценивающими вещи; это какой-то вид принудительного соглашения по поводу того, что кто-то должен или не должен делать с определенными вещами, и кто именно должен поддерживать других в выполнении таких актов. Именно общество делает что-то собственностью, а не какая-то нерушимая связь между индивидом и землей.

Под этим также подразумевается, что могут одновременно существовать все типы систем собственности, зависящие от того, какие именно правовые формы будет поддерживать общество. В Швеции, к примеру, право частной собственности не распространяется на владение общественной или частной землей: прохожие могут бродить по чьим угодно полям или пересекать чей угодно двор, если они ничего не ломают. В Соединенных Штатах чувство частной собственности гораздо сильнее, но все же оно поддерживается не самим индивидом, а общиной. И община берет на себя определенный контроль за тем, что индивиды могут делать со своей собственностью. Они не могут, например, громоздить мусорных куч на жилом участке и не имеют права не допускать полицию, разыскивающую беглеца. Конечно, эти законы не являют собою что-то неизменное; общество может установить какой угодно вид системы собственности. Лишь *некоторые* системы собственности разрешают производить куплю и продажу посредством денег. Некоторым средневековым аристократам не разрешалось продавать свои земли, а во многих племенных обществах собственность может быть передана только вполне определенному наследнику.
